

An impressionist painting of a busy beach cafe. In the foreground, several people are seated at tables, some looking towards the camera. A man in a white shirt and hat is prominent on the left. In the background, palm trees stand against a blue sky and sea. Yellow umbrellas are visible. The overall style is vibrant and textured, with visible brushstrokes.

СОВРЕМЕННАЯ И КЛАССИКА

Морис Дрюон

КРУШЕНИЕ
СТОЛПОВ

«ИНОСТРАНКА»

Конец людей

Морис Дрюон

Крушение столпов

«Азбука-Аттикус»

1963

Дрюон М.

Крушение столпов / М. Дрюон — «Азбука-Аттикус»,
1963 — (Конец людей)

Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге «Проклятые короли», открывшей мрачные тайны Средневековья, и трилогии «Конец людей», рассказывающей о закулисе современного общества, о закате династии финансистов и промышленников. Второй роман цикла называется «Крушение столпов»: могущественные политики, финансовые воротилы, аристократы и нувориши – все когда-то стареют. Героев романа Дрюона настигают болезни и физические недуги. Их дети, напротив, входят в силу, подрастают внуки, но старики с их поразительной волей к жизни, опытом и настойчивостью пытаются повлиять на новое поколение, доказывая, что их еще рано списывать со счета. Но кому удастся удержаться на плаву в море бурных событий, настигших Европу в тридцатые годы XX века?..

Содержание

Напоминание об усопших великих родов	6
Граф Жан де ла Моннери	6
Оливье Менъере	7
Барон Франсуа Шудлер	8
Малыш Фернан	9
Барон Зигфрид Шудлер	10
Генерал Граф Робер де ла Моннери	11
Люсьен Моблан	12
Глава I	13
1	13
2	16
3	20
4	22
5	26
6	32
7	36
8	40
9	42
10	45
11	49
12	53
Глава II	55
1	55
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Морис Дрюон

Крушение столпов

Посвящается Ролану Доржелесу

Maurice Druon

LA CHUTE DES CORPS

Copyright © 1963 by Maurice Druon

© Н. Кудрявцева-Лури, перевод, 2014

© ООО «Издательская Группа Азбука-Аттикус», 2014

Издательство Иностранка®

Напоминание об усопших великих родов

Граф Жан де ла Моннери

Выдающийся поэт, член Французской академии¹, кавалер Большого креста ордена Почетного легиона, умер в Париже в декабре 1920-го, в возрасте семидесяти четырех лет, в своем особняке на улице Любек. При его последних мгновениях присутствовали: два его брата, старший – Урбен, землевладелец, и младший – Робер, бригадный генерал; племянница со стороны жены Изабелла д'Юин – высокородных кровей, но лишенная состояния и какой-либо привлекательности, дожившая в девичестве до четвертого десятка; профессор Эмиль Лартуа, знаменитый врач, член Медицинской академии и кандидат в члены Французской академии; Симон Лашом, молодой выпускник университета, честолюбивый и бедный, сын беррийских крестьян, преподаватель четвертого класса в лицее Людовика Великого. Незадолго перед тем Лашом закончил диссертацию, посвященную творчеству Жана де Ла Моннери, и в тот день принес свежую корректуру умирающему поэту, перед глазами которого страница за страницей, вспыхивая и угасая, прошла вся его жизнь.

Правительство устроило Жану де Ла Моннери национальные похороны.

¹ Французская академия – объединение видных представителей национальной культуры, науки и политических деятелей Франции; основана в 1635 г. Имеет постоянный состав – «40 бессмертных». Ее членами были Ришелье, Расин, Корнель, Д'Аламбер, Вольтер, Гюго, Франс. Основная задача – совершенствование французского языка, издание словаря французского языка.

Оливье Меньере

Слывший, хотя сам он и отрицал это, побочным сыном герцога Шартрского и скромно хранивший на протяжении тридцати лет платоническую верность графине, супруге Жана де Ла Моннери. Ради нее, помогая избежать скандала, этот тихий, добрый холостяк шестидесяти восьми лет от роду согласился через год после смерти поэта жениться на Изабелле, беременной от Симона Лашома. В Швейцарии у Изабеллы произошел выкидыш. Прожив полгода в браке, Оливье Меньере внезапно испытал подъем мужской активности, однако через несколько недель, изнуренный женой, которая была на тридцать пять лет его моложе, однажды ночью скончался на ней в приступе кровавой рвоты.

Барон Франсуа Шудлер

Сын барона Ноэля, внук барона Зигфрида, законный наследник могущественной династии банкиров еврейского происхождения, получивших дворянство в Австрии от Фердинанда II, а во Франции – от Наполеона III. Самоубийство тридцатитрехлетнего молодого человека, вызывавшего у многих зависть, красивого и богатого, великолепного спортсмена, блестяще прошедшего военную службу, внушавшего симпатию с первого взгляда и проявлявшего редкий предпринимательский дар, повергло Париж в изумление. На самом же деле Франсуа, наделенный повышенным чувством ответственности, покончил с собой, в какой-то миг потеряв от отчаяния голову; он стал жертвой биржевой махинации, затеянной против него собственным отцом, грозным исполином бароном Ноэлем. Последний почувствовал ревность к растущему влиянию молодого человека и решил лишить его престижа, который тот начинал приобретать.

Франсуа Шудлер оставил молодую жену, Жаклин, единственную дочь Жана де Ла Монери; после длительной нервной болезни, вызванной происшедшей драмой, и обращения в новую веру стараниями доминиканца, отца Будре, она нашла прибежище в религии. Кроме того, у Франсуа осталось двое детей, Жан-Ноэль и Мари-Анж, в возрасте, к моменту его кончины, соответственно шести и семи с половиной лет.

Симон Лашом, став вскоре сотрудником «Эко дю матен», газеты, владельцем которой был Ноэль Шудлер, должен был поторопиться, чтобы занять возле магната место, на котором тот не захотел видеть своего сына.

Малыш Фернан

Умер в младенчестве, недалеко от Мальмезона, едва дожив до двух месяцев; один из близнецов, с помощью которых двадцатилетняя актриса Сильвена Дюаль, выдавая себя за их мать, выкачала из шестидесятилетнего Люсьена Моблана два миллиона.

Барон Зигфрид Шудлер

В конце 1923 года, в возрасте девяноста шести лет, рухнул от апоплексического удара в зале для игр своих правнуков Жан-Ноэля и Мари-Анж. Основатель французской ветви, второй барон Шудлер, чьим долгожительством гордилась семья, видывал еще Талейрана, беседовавшего за ужином у князя Меттерниха с французским и австрийским императорами. Он на полтора года пережил внука, покончившего с собой, а в самое утро его смерти сбрил себе бакенбарды.

Генерал Граф Робер де ла Моннери

Холостяк, с трудом перенесший свою отставку; вскоре у него началось воспаление предстательной железы; он протянул еще чуть более двух лет и в начале 1924 года скончался от приступа уремии. Ему было шестьдесят семь лет.

Люсьен Моблан

В семье прозванный Люлю, неудачный плод запоздалого брака маркизы де Ла Моннери-матери и банкира Бернара Моблана; соответственно, единоутробный брат Урбена, Жана, Жерара и Робера де Ла Моннери, во все времена считавшийся позором рода. Первый муж баронессы, супруги Ноэля Шудлера, но брак их был почти незамедлительно расторгнут Римской курией. Большой оригинал, игрок, дебошир, импотент, отказывавшийся, однако, признать в этом, Люлю Моблан ненавидел Шудлеров и сыграл важную роль в биржевой афере, послужившей причиной самоубийства Франсуа. В последние годы жизни Моблан в свою очередь испытал гнет ненависти Ноэля, который сумел с помощью семейного совета лишить врага права на свободное распоряжение имуществом и заставил признать себя его опекуном.

В конце концов всеми покинутый, преследуемый Ноэлем Шудлером, узнавший правду о рождении близнецов, Люлю Моблан потерял рассудок, был подобран в буйном состоянии на шоссе и угас, связанный смиренной рубашкой, в обычном сумасшедшем доме весной 1924 года. Ему был всего шестьдесят один год, и он оставил после себя значительное состояние.

За его гробом шла лишь госпожа Полан, давняя секретарша и доверенное лицо сначала Ла Моннери, а затем Шудлеров; она неизменно присутствовала при всех кончинах и похоронах в обоих семействах.

Глава I

Охота слепца

1

На старике был длинный светло-желтый кафтан с черными, обшитыми золотом обшлагами и короткие черные велюровые штаны. Его все еще красивые руки, худые, в коричневых пятнах, с темными, коротко остриженными ногтями, лежали на коленях покойно, как на подушке. На безымянном пальце левой руки виднелась широкая сердоликовая печатка.

Тлеющие в камине угли отбрасывали красноватые блики на камень, украшающий перстень, на отделку куртки, на раструбы высоких кожаных сапог, сморщенных на щиколотке.

Голова у старика, глубоко сидевшего в вольтеровском кресле, чуть клонилась вбок; на его почти лысой голове сзади еще сохранился венчик жестких седых волос, отвислый подбородок складками опускался на двойной бант пикейного галстука, заколотого булавкой с оленьим зубом.

Часы в комнате пробили шесть, затем раздалось еще два удара, послабее, отзвонивших половину.

«Значит, уже темно, – не выходя из полудремы, подумал маркиз де Ла Моннери. – Взяли они его или нет?..»

Он услышал, как треснуло полено и посыпались угли. Но не шевельнулся, зная, что перед каждым камином есть медный экран.

«Кстати, где я? – подумал маркиз. – В малой гостиной. Тогда какой здесь должен быть камин? С грифонами или с музами?»

Он поднялся, осторожно вытянув вверх руку, чтобы не стукнуться о мощный каменный карниз в стиле ренессанс, опоясывавший колпак над камином. Пальцы старика чуть заметно, судорожно шевелились и, добравшись до скульптур, нащупали крылья, бороздки, изображающие перья на лапках, заканчивающихся острыми когтями. Да, это был камин с грифонами, украшенный в нескольких местах большой буквой «М» – своего рода гербом Моглева, составленным из двух перекрещивающихся шпаг и увенчанным короной. Другой камин – с музами – находился в большой гостиной.

«Ну вот, – подумал маркиз, – я уже и не знаю, что у меня в доме».

Он снова нащупал подлокотник кресла и, вздохнув, опустил на сиденье.

Маркизу де Ла Моннери было восемьдесят четыре года. Несколько лет назад ему удалили катаракту с обоих глаз, но и это не спасло его от слепоты. Лишь в яркий солнечный день он еще мог с трудом разглядеть серый проем окна – словно простыню, висящую в черноте ночи; в иные вечера едва различимое свечение указывало ему, что зажгли лампы. Он жил словно в глубине огромной мертвой жемчужины.

Временами, когда между ним и лампой кто-нибудь проходил, он различал тень и думал: «Смотри-ка! Я все-таки что-то увидел». Но и эти последние проблески зрения ослабевали с каждой неделей. Маркиз знал, что вскоре слуги и родственники, которых он изредка встречал в коридорах замка, утратят даже те неясные, похожие на призраки, очертания, какие он еще различает, и Моглев станет для него лишь громадным склепом, населенным голосами.

Дверь отворилась – вошла Жаклин Шудлер в сопровождении высокого офицера спаги².

– Это я, дядя Урбен, – громко сказала она, – я, Жаклин.

² Вид легкой кавалерии во французских колониальных войсках в XIX–XX веках, действовавших в Северной Африке.

Всякий раз, когда она входила в комнату и обнаруживала старика вот так глубоко сидящим в кресле, она боялась, что он умер.

Маркиз выпрямился.

– Ну что, взяли? – спросил он.

– Понятия не имею, дядюшка, – ответила Жаклин, бросая на мраморную консоль треуголку и хлыст. – Я отстала от собак в болотах Волчьей ямы, а тут стало темнеть... Я прямо сама не своя от злости! К счастью, я встретила капитана Де Вооса, который потерялся, как и я. Это меня все-таки немного утешило, и мы вернулись вместе. Я предложила ему заехать к нам и подкрепиться.

Маленькая, очень тоненькая, с хрупкими запястьями и щиколотками, худенькой шеей, высокими дугообразными бровями, Жаклин была во всем черном. Юбка для верховой езды, забрызганная глиной, присобиралась на бедре, чтобы не стеснять движения.

Молодая женщина села в кресло, стоявшее по другую сторону камина, попудрилась и быстро пригладила гребнем волосы. Костюм никак не соответствовал столь хрупкой внешности.

– Кто-кто? Де Воос?.. Какой капитан Де Воос? Не знаю такого, – пробурчал маркиз.

– Ну как же, дядюшка, это гость Жилона. Его представляли вам сегодня утром, перед охотой. И он сейчас здесь, со мной, – поспешила уточнить Жаклин.

– А-а!.. Прекрасно, – отозвался маркиз.

– Я злоупотребляю вашим гостеприимством, месье, – сказал Де Воос.

Невольно он заговорил слишком громко, будто обращался к глухому, и услышал, как его собственный голос отразился от высоких кессонных потолков.

Маркиз приподнял веки, его белесые, лишенные хрусталиков жуткие зрачки повернулись в том направлении, откуда донесся голос офицера.

– И как тебе этот капитан, Жаклин? – спросил он.

Молодая женщина, слегка улыбнувшись смущенно, поглядела на высокого спаги и не нашла ничего лучшего, чем принять иронически-веселый тон.

– Ну что же, дядюшка, он очень высокий, – отвечала она. – Метр восемьдесят...

– Восемьдесят четыре, – уточнил Де Воос, показывая тем самым, что с удовольствием принимает игру.

– Он – шатен... погодите-ка, темный шатен или светлый? – продолжала она, делая вид, будто придирчиво разглядывает его. – Нет, темный шатен. На нем восхитительный красный доломан. И... вообще, он красив! Вот так!

– Благодарю, – поклонившись, сказал Де Воос.

– Сколько лет? – опять задал вопрос старик.

– Тридцать семь, месье, – ответил Де Воос. И, обернувшись к Жаклин, добавил: – Теперь вы знаете обо мне все.

На несколько мгновений наступила тишина. Жаклин нагнулась поворошить угли, и над черным бархатным воротником, над белым галстуком приоткрылась полоска хрупкой шеи и стал заметен золотистый, легкий, почти детский пушок волос на затылке.

– Ты собираешься за него замуж? – внезапно произнес слепец.

Жаклин резко выпрямилась.

– Дядюшка, я же вам сказала, – воскликнула она, рассмеявшись, – что еще сегодня утром, до охоты, я не была знакома с господином Де Воосом! – И добавила, почувствовав на себе пристальный взгляд капитана: – Имейте в виду, дядюшка непременно хочет выдать меня замуж. Это у него прямо мания. Но не волнуйтесь: вы никакой опасности не подвергаетесь.

Не зная, как себя вести, Де Воос просто развел руками, показывая, что во всем – воля Провидения.

– Но ведь она *должна* выйти замуж! Я знаю, что говорю! – вскричал маркиз, хлопнув по подлокотнику кресла.

– Оставьте, прошу вас, дядя Урбен! – потеряв терпение, обрезала его Жаклин. И, стремясь переменить тему, добавила: – Больше всего меня возмущает то, что Лавердюр настигнет оленя один.

– Сколько же мы сегодня отмахали? Я плохо знаю местность и не могу подсчитать, – заметил Де Воос. – Пятьдесят километров, пятьдесят пять?

– Ну что вы! Не больше сорока, – ответила Жаклин.

– Вы наверняка получите более точное представление о наших дорогах, месье, если окажете нам честь посетить Моглев еще раз, – сказал маркиз.

2

Жаклин и Де Воос заканчивали поданный им сытный полдник, когда вошел первый доезжачий.

Небольшого роста, коренастый, мускулистый, с легкой проседью, с задубевшей от капризов погоды кожей, на редкость правильными и горделивыми чертами лица, живыми черными блестящими глазами, первый доезжачий уже начинал бороться с возрастом. Не сняв облепленных грязью сапог, раструбы которых доходили ему до середины бедра и скрывались под фалдами желтого кафтана, с охотничьим хлыстом на шее, охотничьим рогом на поясе, ножом на боку и держа в руке шапку, он стоял, выпрямившись перед маркизом.

– Ну что, Лавердюр? – спросил тот.

– Да то, господин маркиз, что ничего тут не понятно, – ответил доезжачий. – До чего я зол, и сказать не могу. Черт бы его подрал!

– Но-но, не ругайтесь, Лавердюр!

– Прошу прощения, господин маркиз и госпожа баронесса, – продолжал доезжачий, – но господин маркиз меня поймет... Мы гнали оленя ну уж никак не меньше получаса. В последний раз, как я его видел, у него уже язык вываливался. И вдруг ни с того ни с сего этот олень исчез, точно дьявол его куда скрыл. Господин маркиз согласится, что тут без колдовства не обошлось!

И он, горестно сморщившись, потер красную полоску на лбу – след, оставшийся от шапки.

– Хотите глоток вина, Лавердюр? – спросила Жаклин.

Ее вполне устраивало то, что и первый доезжачий потерял оленя.

– О! Госпожа баронесса слишком добра, – ответил доезжачий, по привычке взглянув на слепца.

– Да-да, конечно, выпейте, Лавердюр, – отозвался маркиз, словно почувствовав его взгляд. И, взяв со столика, стоявшего рядом, бронзовый колокольчик с деревянной ручкой – совсем как те, какими в колледжах возвещают конец перемены, – громко зазвонил.

Появился старик в ливрее из толстого сукна бутылочного цвета. Он шел шаркающей походкой, склонившись вперед, в чуть провисших между ногами брюках; из впалой груди доносилось хриплое дыхание, обычное у больных эмфиземой легких; трясущиеся отвислые щеки придавали ему сходство со старым быком.

– Господин маркиз звонил? – спросил он.

– Подайте мне охотничий ящик, – ответил слепой.

– Господин Лавердюр, не могли бы вы мне помочь? – обратился к доезжачему старик в зеленой ливрее.

– Ну конечно, господин Флоран, – ответил тот, ставя пустой бокал.

Двое слуг, властвовавшие десятки лет – один над домом, другой над псарней и конюшней, – всегда обращались друг к другу на «ты», но в присутствии хозяев держались несколько церемонно.

Де Воос увидел, как они подошли к странному предмету красного дерева, напоминавшему старинные столы для триктрака, но раза в три больше, и поставили его перед слепцом. Маркиз откашлялся, прочищая горло. Встал, отыскал в кармане, запрятанном в фалдах, носовой платок, сплюнул, тщательно вытер рот и снова сел. В своем обтягивающем торс кафтане он напоминал тех маршалов из рода Моглев, от которых происходил и чьи портреты с голубой лентой наискось, испещренные трещинками, слабо поблескивали на стенах, – вылитый старый маршал времен Семилетней войны, забывший надеть парик и отпустивший усы.

Лавердюр произнес:

– Госпожа баронесса разрешает? – и придвинул большую керосиновую лампу, вставленную в фарфоровую вазу. В Моглеве не было электричества.

«В сущности, каждая эпоха образует свой тип людей, – подумал Де Воос. Он вдруг увидел, насколько идеально лицо Жаклин вписывается в эпоху Людовика XVI. – Это и есть связь поколений...» И глаза его невольно снова отыскивали на хрупкой шее тонкую линию позвонков.

Он вдруг заметил, что все в этой комнате – и хозяева, и слуги – одеты в необычное по форме или цвету платье. Сам он, несмотря на красный доломан и золоченые шпоры, заставлявшие людей оборачиваться на улице, чувствовал себя здесь единственным, кто был одет по современной моде. И хотя Де Воос не обладал чрезмерным воображением и не был подвержен мистике, ему показалось, что он попал в такое место, где время не властно, где люди не умирают, где гильотинированные сохраняют голову, и он бы не слишком удивился, если бы вдруг из-за деревянной панели вышел мушкетер в серой шляпе или фрейлина Екатерины Медичи.

«Но я-то что здесь делаю?» – подумал он.

Флоран снял крышку с таинственного столика. Внутри был большой, превосходно выполненный макет, в точности воспроизводивший местность вокруг замка Моглев.

В тот год, когда маркиз почувствовал, что безвозвратно погружается в темноту, он заказал себе эту дорогую и уникальную вещь. И хотя ее владельцу суждено было ослепнуть, мастер работал так старательно, что даже окрасил кобальтом русла ручьев, расцвелит красным крыши в деревнях, выделил светлой зеленью рощицы среди изумрудных полей. Макет этот походил одновременно и на игрушку наследного принца, и на «походный ящик», которым пользуются для разработки учебных маневров в военных школах.

Маркиз вытянул руки – сердоликовая печатка блеснула в лучах лампы. Старые жилы напряглись. Короткие ногти принялись постукивать по макету. Наконец указательный палец правой руки остановился на небольшом кубике, ошетилившемся башенками.

– Вот замок, – промолвил маркиз.

Палец его медленно пересек парк, скользнул вдоль полосы – шоссе на Париж, – переполз через лес и замер на полянке.

– Так, теперь мы у Сгоревшего дуба, – продолжал он. – Дальше что, Лавердюр?

– Ну вот, согласно приказаниям господина маркиза, – начал доезжащий, – я принялся стучать по моей отметине ровно в одиннадцать часов. Олень тут же выскочил. И махнул через Новую просеку...

Указательный палец чуть переместился вправо.

– Через Новую просеку, – повторил слепец для себя.

– ...потом он побежал по аллее Дам – господин капитан как раз там и дал мне совет, и это мне очень помогло, – сказал Лавердюр, поворачиваясь к Де Воосу. – Сразу видно, что господин капитан привык с собаками охотиться, – добавил он, стремясь польстить. – Большущий олень с черными рогами, и отростков у него, по-моему, больше двенадцати. Я трублю сигнал...

– Какой капитан? – прервал его маркиз.

– Капитан Де Воос, который тут у нас в гостях, – вмешалась Жаклин.

– Так это все тот же? Хорошо, продолжайте, Лавердюр.

Лицо старика оживилось, кровь прилиwała к щекам, пробираясь между морщинами, мешками, рытвинами, коричневыми пятнами, синеватыми и кроваво-красными жилками; ноздри его подрагивали от ароматов, которые чувствовал только он, – запахов грибов, плесени, глины и лошадиного пота.

Урбен де Ла Моннери переживал один из тех редких часов – между наступлением осени и концом апреля. В это время он еще ощущал прелесть жизни. А потом наступали пустые месяцы, которые «дураки называют лучшим временем года». Тогда он дремал в глубине своей мертвой жемчужины, с нетерпением ожидая приближения октябрьской охоты... Если только...

Руки его снова двинулись вперед по маршруту, описанному доезжачим. Слепец не упускал ничего. Он выжимал до конца последний зимний плод, который ему оставила жизнь.

Он желал знать, какая собака снова взяла след на лугу за Нефосским лесом, и на сколько минут олень обогнал стаю, и видел ли Лавердюр его в прыжке, и разошлись ли к этому времени от усталости копыта животного.

Маркиз и в самом деле преследовал убегающего или петляющего оленя. При помощи ладоней и фаланг он властвовал над тысячами гектаров земли. Беспреданно подергиваясь, его пальцы опускались в долины и перемахивали через холмы, передавая ему ощущение бархатистой почвы на зеленой просеке, комьев земли, летящих из-под копыт скачущих галопом лошадей, водяных брызг во время переправы через ручей. Он прислушивался к лаю своих собак; чуть приподнявшись в стремени, он хватал рог, чтобы протрубить сигнал – поднять оленя или перебраться в другой лес, и звуки трепетали за ним на ветру, как золоченые вымпелы... Ему стало слишком жарко и захотелось достать носовой платок, чтобы промокнуть шею.

Старик Флоран придумал себе работу, чтобы остаться в комнате: подбросил дров в камин, собрал оставшиеся с полдника тарелки, стараясь двигаться как можно тише и сдерживать хриплое дыхание. Он слушал доезжачего почти с такой же страстью.

Лавердюр рассказывал долго, так как охота была нелегкой.

– И вот, господин маркиз, – закончил он, приглаживая волосы на затылке, – тут-то я, видно, и допустил промашку, теперь я и сам понимаю. Вышел я, значит, снова на след оленя за Волчьей ямой, там, где я в последний раз заметил госпожу баронессу, а потом и все остальные господа отстали от собак, прямо надо признать. «Этого оленя, – подумал я, – мучит жажда, тут уж не ошибешься». А вода в тех местах, господин маркиз знает, да и сейчас может в этом убедиться, есть только в пруду Фонрель или в ручье, который в него впадает. Вот я и подумал: собаки мои устали, день клонится к вечеру, да и Жолибуа моего, – (так звали второго доезжачего), – я уже полчаса как не слышу, – взбрело ему, видно, что-то в голову, так вот, надо срезать вправо и накрыть оленя у пруда. А он-то как раз туда и не пришел.

– Ну значит, он удрал от вас, Лавердюр, – подытожил слепец.

– Вот именно, господин маркиз!

– Вы закончили охоту, как старик – глубокий старик, Лавердюр: занимались расчетами, а про лошадь забыли.

– Да, да, точно так.

Лавердюр кусал губы и мотал головой с огорченным видом, едва сдерживая гнев. Он-то знал, что действительно стал бояться глубоких высоких зарослей кустарника, потому и принял такое решение. Никогда в былые годы он не думал об усталости – он едва ее чувствовал.

Де Воос, возвышаясь над всеми в своем красном доломане, наблюдал со все возрастающей симпатией за этим умным, воспитанным, почтительным без угодливости – что так редко бывает – человеком, чья профессия заставляла его по прихоти слепца преследовать оленей и который страдал теперь, чувствуя подступающую немощь.

Де Воос начинал понимать, почему Жаклин на обратном пути сказала ему: «Лавердюр – незаурядный человек».

Руки старика застыли.

– Ну и конечно, господин маркиз может быть уверен, я обошел весь пруд, стучал всюду, поднялся вверх по ручью. А собаки привели меня вот сюда... господин маркиз позволит?..

Лавердюр деликатно взял своими жесткими красными пальцами указательный палец слепца и провел им до берега ручья.

– С какой стороны ветер? – осведомился старик.

– Точно с запада, господин маркиз.

Указательный палец переместился к востоку, поднялся по течению ручья к его устью и, добравшись до излучины, замер. На лице маркиза появилось выражение, какое бывает у колдуна, почувствовавшего вдруг, как дрогнула палка в его руке.

– Ваш олень здесь, Лавердюр, – заключил старик. – Он идет по воде, чтобы скрыть следы и чтобы ветер, который дует ему в спину, уносил его запах вперед, подальше от собак. И вы сами знаете, Лавердюр, если уж олень после пяти часов гона войдет в воду, на берег он больше не выйдет, поэтому он может быть только здесь – лежит в зарослях тростника.

– Нет, господин маркиз, это невозможно: ручей перегорожен запрудой, и оленю там никак не пройти. Или ему нужно выходить на берег. А на откосах мои собаки ничего не нашли – тут уж только о колдовстве и остается думать.

– Вы можете болтать что угодно, Лавердюр. А я вам говорю, ваш олень здесь, – повторил старик. – Я в этом уверен! Еще при жизни моего отца, когда я был совсем мальчишкой, – а в те времена олени гораздо чаще заходили в Волчью яму, – я видел много раз, как их настигали именно в этом месте.

Лавердюр задумался и глубоко вздохнул.

– Конечно, так оно и есть, – промолвил он. – Если господин маркиз позволит, я сейчас перекушу, возьму несколько собак, из тех, которые поменьше устали, да на грузовике туда и съезжу. А не то получится, будто мы что-то упустили – потому и не взяли его.

Слепец откинулся на спинку кресла. И махнул рукой, чтобы охотничий ящик унесли.

Он устал – лицо его внезапно осунулось, и у Жаклин сжалось сердце.

Когда доезжащий вместе с дворецким вышли, слепец, чьи черты немного разгладились, спросил:

– А где Жилон?

– Я думаю, месье, – ответил Де Воос, – что он направился прямо в Монпрели, куда, впрочем, и я собираюсь вернуться.

– Ах, какая досада, – бросил маркиз. – Я не люблю, чтобы слуги затевали что-либо одни, без хозяев. Если бы я хоть видел ясно...

– Но я же, естественно, поеду с Лавердюром, дядюшка, – воскликнула Жаклин.

– Оставь, оставь, не говори глупостей. Ты устала.

– Я уже отдохнула, дядюшка, уверяю вас, и вполне могу продолжить охоту.

Она говорила правду. Надежда взять оленя влила в нее новые силы, и Де Воос с удивлением посмотрел на нее.

– Если хотите, у меня есть машина, – продолжил он. – Мне и самому довольно любопытно, чем все это кончится.

Жаклин не стала колебаться или из вежливости отказываться.

– О, это очень любезно с вашей стороны, – сказала она.

А воображение уже несло ее к излучине ручья.

– Так неужели ты туда поедешь? – спросил маркиз.

– Конечно, дядюшка, я же вам сказала!

От счастья лицо слепца разгладилось.

– Ну вот! Все же не обрекают они меня на смерть в одиночестве, – прошептал он.

3

Сквозь решетки, заменявшие в старом грузовичке двери, можно было видеть несколько больших собак, растревоженных и удивленных этим ночным путешествием; большой бежевый «вуазен», который вел Де Воос, ехал следом, и его включенные на полмощности фары зажигали в глазах собак странные золотые блики – словно микенские божества вдруг задвигались в глубинах храма.

Жаклин наконец удалось расшифровать имя владельца машины на небольшой серебряной пластинке, вставленной в медальку с изображением святого Кристофа.

*Мадемуазель Сильвена Дюаль,
драматическая актриса.
33. Неаполитанская улица.*

Это имя не соотносилось у Жаклин с каким-либо определенным воспоминанием, однако оно было ей знакомо и вызывало скорее неприятное чувство.

Она испытывала к Де Воосу все возрастающий интерес, смешанный с недоверием.

Решительно, он был очень хорош собой. Полоска света, исходившего от доски с приборами, лентой обрамляла его подбородок. Жаклин почти бессознательно рассматривала волевой, чеканный профиль, абрис массивной нижней челюсти, – превосходство, уверенность в себе сквозили в каждой черте его лица, в посадке головы, в складках век, даже в самой мышечной ткани.

– У вас чудесная машина, – произнесла она.

– Да... машина одной моей подруги... она одолжила мне ее... – отозвался Де Воос. – А ваш дядюшка, значит, – продолжал он, меняя тему, – всякий раз, как идет охота, надевает соответствующий костюм и садится у камина?

– Да, и он никогда не позволяет себя раздеть, пока команда не вернется и доезжачий не доложит ему обо всем, – ответила Жаклин.

Де Воос на несколько мгновений умолк.

– Великое это счастье – до старости сохранить к чему-то страсть, – сказал он.

– А у вас тоже есть пристрастие, которое вы надеетесь сберечь? – спросила она.

Он не ответил. Не бросая руля, он снял с правой руки толстую перчатку из верблюжьей шерсти – рука оказалась довольно большой, гладкой и длинной, с прямо срезанными, ухоженными ногтями, пожалуй, слишком ухоженными для военного, – и, достав золотой портсигар, протянул его Жаклин. На мгновение взгляды их встретились. Глаза у высокого офицера были большие, рыжеватые, не столько сверкающие, сколько блестящие. Он улыбнулся. И Жаклин почувствовала некоторое смущение.

Она сидела, запахнувшись в широкое, подбитое мехом пальто. Ей было удобно на кожаных подушках сиденья, а Де Воос к тому же галантно накинул ей на колени свой бурнус.

«Почему меня не оставляет это... feeling³ в отношении его, – подумала Жаклин. – Он любезен, он услужлив, не пользуется тем, что мы одни, и не затевает идиотские ухаживания, хотя многие другие сочли бы это для себя обязательным...»

Может быть, из-за того, как лежала его рука на руле, или из-за толстой золотой цепочки на запястье, или из-за кепи, дерзко надвинутого на лоб, или из-за парада орденов, вероятно, заслуженных, но уж слишком многочисленных, слишком выставленных напоказ (розетки кавалера Почетного легиона и четырех пальмовых ветвей Военного креста было бы вполне достаточно, зачем носить все остальные?), или, может быть, из-за этой слишком роскошной машины, при-

³ Ощущение (англ.).

надлежавшей не ему, у Жаклин возникало впечатление, что он человек не «высокой пробы» – не «вполне порядочный», как говорили в кругу Ла Моннери.

– Вы постоянно живете в Моглеве? – спросил он.

– Нет. Часть времени приходится проводить в Париже – дети там ходят в коллеж, а часть времени – здесь, – ответила Жаклин. – И потом, только в этом году... Только в этом сезоне после смерти мужа я снова стала охотиться.

Как и всякий раз, когда в памяти ее всплывало воспоминание о Франсуа Шудлере, со времени самоубийства которого прошло уже почти шесть лет, или когда кто-то говорил о нем при ней, Жаклин на миг уходила в себя, и брови ее поднимались еще выше.

– Вы понравились бы друг другу, я уверена, – добавила она. И тотчас с неудовольствием подумала, зачем ей понадобилось прибавлять эту фразу, не соответствовавшую в полной мере ее ощущению.

– Жилон мне много говорил о нем как о человеке и в самом деле необыкновенном, – заметил Де Воос.

Жаклин промолчала. Машины выехали на проселочную дорогу, где желтая земля была вся в рытвинах. Глаза собак по-прежнему светились за решеткой грузовика.

– Впрочем, – продолжал он, – уж слишком безрадостным было бы для женщины сидеть в этой громадной казарме целый год одной.

Жаклин смущала и в то же время неудержимо притягивала к Де Воосу та властность и легкость, с какими, казалось, он вторгся в чужую жизнь, вид его словно говорил: «Вот увидите, раз я здесь, все будет хорошо».

Да и Моглев он, оказавшись здесь впервые, фамильярно назвал «громадной казармой», как будто был уже тут своим. Именно так говорил о замке когда-то и Франсуа.

Жаклин подумала, что надо следить за собой в присутствии этого человека и не произносить слов, которые могут быть истолкованы превратно.

«Да и потом, все они так страстно хотят, чтобы я вышла замуж, – размышляла она. – Мать, что ни месяц, устраивает так называемые вечеринки, представляя мне кого-нибудь; свекор хочет выдать меня за Симона Лашома; дядя Урбен вбил было себе в голову, что лучшая кандидатура – милейший Жилон, а теперь просто решил сватать меня за первого встречного!.. Даже слуги, я чувствую, этим озабочены... Неужели всем им мешает, что я остаюсь вдовой!»

– Мы, безусловно, настигнем оленя, – проговорил в эту минуту Де Воос. – Ваш дядя совершенно прав. Олень идет вверх по ручью.

И это он произнес своим уверенным, не терпящим возражения тоном.

Машины доехали до конца дороги, и Лавердюр выпустил собак.

4

Январь в том году выдался на редкость мягкий. Земля раскисла во время недавней оттепели, и небо чернело, словно крыша из сажи.

Лавердюр, шагая в сапогах прямо по воде и высоко подняв в руке зажженный толстый факел из соломы, поднимался по течению ручья. Карл Великий, служивший на псарне подросток, приютский ребенок, которому придумали такое необычное имя, чтобы к нему не пристало какого-нибудь прозвища («Если заслужит, – говорил Лавердюр, – я сам потом назову его Срезанная Ветвь»), полусонный, шел следом, неся факел из соломы и связку запасных пучков. Две самые храбрые собаки пробирались по воде за ними. Четверо других, в том числе и старый Валянсей, бежали по откосу.

Лавердюр без усталости, гортанным голосом, понукал собак, отчаянно заставляя их искать след.

– О, гой, о, гой!

«Если только мы возьмем оленя, это, я уверена, станет важным предзнаменованием», – думала Жаклин, сама не понимая, что за смысл она вкладывает в эти слова. Несмотря на мех, ей было зябко, и время от времени она вздрагивала.

Четверть часа старательных поисков не дали никаких результатов. Вот и старый шлюз, о котором Лавердюр говорил маркизу, вырос перед ними, перегораживая русло ручья покрытыми склизким мхом досками, собирая на воде желтую пену и пузыри.

– Но должен же он был все-таки где-то пройти. Голову прямо сломать можно, – ворчал доезжачий.

Внезапно его осенила какая-то мысль, и он крикнул:

– Карл Великий! На-ка, поддержи!

Он снял охотничий нож, пояс, кафтан и бросил их псарю.

– Что вы делаете, Лавердюр? – воскликнула Жаклин.

– Пусть госпожа баронесса не беспокоится, – ответил он.

И, встав на колено, склонился почти до самой воды; уцепившись одной рукой за трухлявую балку, а другой по-прежнему сжимая факел, старый доезжачий просунул тело в узкое отверстие шлюза, под его заслон, точно под нож гильотины.

«Но это же невозможно, просто немыслимо», – подумала Жаклин. И почти в то же мгновение Лавердюр буркнул:

– Ах ты, черт тебя раздери! Ну и дела! Вот уж наука! – И, резко выпрямившись, рявкнул: – Валянсей! Давай, давай, мой милый! Улюлю, улюлюлю! Карл Великий! Нечего спать, погоди, я тебя разбуду! А ну, кинь-ка мне этого пса в воду! Вот оно, улюлю-то! Вперед, ребятаки!

Коренастый, приземистый старик в черном жилете с золотом, мечущийся над водоворотом в своих вымокших до нитки штанах, с зажатым в кулаке факелом, был счастлив, почти страшен и красив.

Он заметил вдавленные в мох, покрывавший нижнюю часть шлюза, две свежие борозды, оставленные оленьими рогами.

– Ах! Госпожа баронесса! – воскликнул он. – Никогда и в голову не придет, что олень, да тем более такой громадный, пролезет здесь. До чего ж хитер! Я аж ругнулся, пусть мадам меня простит, но, право слово, было отчего! Ату его, ребятаки! Давай, красавцы вы мои!

– Браво, Лавердюр! Мы возьмем его! – вскричала Жаклин.

– Все может быть, госпожа баронесса, все может быть! Ату его!

Запах преследуемого, измученного оленя остался в бороздах на доске, ибо Валянсей дважды коротко подал голос. И пять остальных собак полувброд-полувплавь ринулись вслед за ним под заслон.

Лавердюр отошел от воды на откос и надел кафтан. Он схватил длинный шест и принялся бить им по воде, создавая как можно больше шума.

Внезапно у самой излучины, на которую указывал маркиз, все шесть собак залились лаем, и темный силуэт, шумно «плюхнув», скакнул вдоль ручья и выпрыгнул на берег.

– О, гой! О, гой! – завопила Жаклин.

– Я же говорил вам! – воскликнул Де Воос.

Жаклин обратила на него благодарный, полный доверия взгляд, будто это была его заслуга.

И они бросились бежать, подворачивая ноги, спотыкаясь об ивовые пеньки и комья стылой глины.

– С головы заходи, с головы! – кричал Лавердюр, распаяя собак.

Олень, хоть и окоченевший в холодной воде, успел все же немного восстановить силы. Он ускользнул из-под носа у собак, и его легко было снова потерять в темноте.

«Да, то, что мы нашли его и подняли, – уже прекрасно», – подумала Жаклин.

А олень неся прямо вперед, и его силуэт словно парил над землей. Однако вместо того, чтобы нырнуть в подлесок, он со всего маху врезался в дерево.

Послышался глухой удар. На какое-то мгновение олень замер, оглушенный; затем вновь устремился вперед, но на сей раз по кругу, то и дело, точно в припадке безумия, задевая обо что-то рогами, будто атакуя целую армию великанов; наконец он прислонился к дереву, задыхаясь, выставив голову навстречу собакам...

Подбежали люди с факелами. Старый олень гордо стоял, как бы опершись на черноту ночи; его темная шкура слиплась от воды, широкая грудь вздымалась от учащенного дыхания; он поводил громадными, выставленными вперед рогами и временами гневно потряхивал головой.

Шестерка псов, задрав морды, окружала его кольцом; собаки заливались гортанным диким лаем, какой появляется у них только в минуты гона.

– Но почему он натывается на все деревья, Лавердюр? – спросила Жаклин.

– Ослеп он, госпожа баронесса, – ответил доезжачий, сдергивая шапку. – Да погодите, сейчас сами увидите!

Приблизившись к животному на безопасное расстояние, Лавердюр поводил перед ним факелом. Олень втянул носом дым, но не шевельнулся; его неподвижные стеклянные глаза по-прежнему были широко раскрыты и сверкали красным от пламени огнем.

– Случается так, госпожа баронесса, – сказал Лавердюр, – случается с загнанными оленями. Что-то у них там лопается в голове, и они потом ничего не видят. Этот олень и сам подход бы завтра или послезавтра... Точно, понимаю, странный случай вышел, прямо-таки забавный, – добавил он, догадываясь, о чем подумали разом Жаклин и Де Воос.

Он раздавил ногой огарок факела, достал охотничий нож и почтительно произнес:

– Не думаю, чтобы госпожа баронесса пожелала сама его отколоть...

Жаклин отрицательно помотала головой и взглянула на Де Вооса.

– Если только госпожа баронесса не пожелает оказать честь господину капитану, – после минутного колебания добавил Лавердюр.

Однако с незапамятных времен обычай – никто притом не уважал его больше, чем Лавердюр, – повелевал, чтобы животное убивал хозяин замка или же – в его отсутствие – доезжачий, но никогда не гость.

И все же исключительные обстоятельства этой необыкновенной охоты позволяли нарушить правило, а главное, ясно было, что между Жаклин и Де Воосом протянулась некая нить, о чем сами они пока не догадывались, но что побудило старого доезжачего действовать так, как если бы он желал создать ситуацию, одинаково лестную для обоих.

– Вы не возражаете... – промолвила Жаклин.

– Весьма охотно, – ответил Де Воос, схватив большой, длинный, как штык, нож. А старый олень, пока шел этот обмен любезностями, чуял приближение смерти.

Де Воос сбросил бурнус на землю, чтобы не сковывал движения. Животное с выставленными вперед рогами было одного с ним роста, но к воодушевлению, какое испытывал Де Воос, примешивалось сознание того, что олень стар и слеп, и офицер вдруг почувствовал, что ему было бы легче убить человека.

– Осторожней, господин капитан! Хоть олень и слепой, у него еще для защиты сил хватает, – предупредил Лавердюр. – Надо зайти сбоку и приставить лезвие вот сюда, к ямке возле плеча. – Большим пальцем он указал нужное место на собственном кафтане. – А после найти мякоть и надавить...

– Да, да, – пробормотал Де Воос.

– А ты, Карл Великий, зажги-ка еще факел да возьми шест, чтобы ударить его по рогам, если понадобится.

Собаки перестали лаять; они тоже выжидали, вздыбив шерсть и сверкая клыками.

Жаклин вспомнила Франсуа – как он, под улюлюканье соскочив с лошади, шел к оленю, совсем как сейчас Де Воос, и ее охватила та же смешанная с гордостью тревога.

Олень, почуяв приближение человека, еще ниже опустил ветвистые рога, резко выдохнул и весь подобрался, будто перед прыжком.

– Сбоку заходите, сбоку, господин капитан! – крикнул Лавердюр, тоже приближаясь к животному.

Раздался страшный вой. Олень выпрямился, подцепив отростками рогов какую-то извивавшуюся массу, и швырнул ее на землю.

– Ах, черт побери, сволочь ты этакая! – вскричал Лавердюр. – Поторопитесь, господин капитан!

На земле, суча ногами, с распоротым животом валялась собака.

Де Воос, кинувшись на оленя, вначале почувствовал под ножом сопротивление кости, переместил острое и, налегая всем корпусом, нанес такой сильный удар, что едва не потерял равновесие – до того легко вошло лезвие по самую рукоятку. Он не ожидал, что у столь могучего животного окажется такая нежная плоть. Старый олень упал на колени, потом, слабо вскрикнув, завалился на правый бок, и кровь хлынула у него изо рта, стекая по языку.

Жаклин жадно глотнула воздух – последние несколько секунд она вообще не дышала.

– Мне очень жаль собаку. Я недостаточно быстро шел, да? – спросил Де Воос, сохраняя полнейшее хладнокровие, и отдал нож доезжающему.

– О нет, господин капитан! Это с кем хочешь может случиться, – ответил как-то слишком поспешно Лавердюр. – Наоборот, решительности господина капитана можно позавидовать.

Он снова стащил с головы шапку. Делал он это бессознательно, лишь только к нему обращались, – будь он на лошади или пешком, была бы рука свободная.

Он вытер нож о шерсть собаки, которая, лежа со вспоротым животом в луже крови, время от времени еще мелко подрагивала, легонько провел ей по спине массивным, набухшим от воды сапогом и произнес:

– Бедняга Артабан, смотри, пришла твоя очередь. Самым храбрым всегда и достается. Но в конце-то концов, лучше он, чем господин капитан, верно ведь?

Только тут он почувствовал, как въедается в кожу ледяная сырость. «Вот так и ревматизм заработаешь, если не еще что похуже, – подумал он. – Ох и разорется сейчас Леонтина, если я вернусь в таком виде». Внезапно настроение у него испортилось, но придаться было не к кому. «Может, если б я сам его отколол или если бы Карл Великий бросил в него шест... Вот... Вот... что значит...»

Старый Валянсей, оскалившись, стал осторожно подбираться к вывалившимся кишкам своего сородича.

– Назад! – крикнул Лавердюр, яростно отбросив пса в сторону. – Не дам я тебе им лакомиться.

Он достал из кармана другой нож, меньшего размера, со стопорным вырезом и тонким лезвием, и, подойдя к туше оленя, вспорол ее одним ударом от ребер до паха. Теплый острый запах дичины заполнил рощу.

В столь поздний час не могло быть и речи о том, чтобы устраивать церемонии, – важно было поскорее вознаградить собак.

– Улюлю, ребятаки, улюлю! – крикнул Лавердюр, сопровождая свои слова широким жестом.

Пять псов с взъерошенными загривками кинулись на массу кишок, погрузились в них по самую грудь, клая зубы и рыча.

Заслышав, как лакомятся другие, Артабан грустно открыл глаза – в них было желание присоединиться к пиру: последним усилием воли он попробовал подползти и тоже полакомиться своей долей добычи, но голова его снова упала на землю, и больше он не шевелился.

Остальные продолжали разгрызать хрящи, оспаривая друг у друга внутренности оленя, полные пахучих трав и секретов, выдирая длинные шелковистые кишки, вгрызаясь клыками в их опаловую, зеленоватую и рубиновую ткань.

Жаклин наблюдала спектакль во всех подробностях со смешанным чувством отвращения и вожделения.

– Это первый олень, которого вы откололи? – спросила она.

– Первый, – ответил Де Воос, улыбаясь.

Ни одна охота не давала еще Жаклин такого ощущения власти, как этот ночной гон и дикарское лакомство при свете соломенных факелов, – ощущение власти не только над тем, что можно купить, – над собаками и людьми, – но и над всем остальным – над небом, над долиной, над лесом, над вольным зверьем, его населяющим.

– Что это я говорил госпоже баронессе? Да, олень-то с четырнадцатью отростками, – констатировал Лавердюр, выражая на свой манер похожее чувство гордости. – Такого в наших краях не часто встретишь. Господин маркиз будет доволен.

За несколько минут собаки растащили, сожрали, проглотили гигантскую массу внутренностей, и громадный олень остался полый, как старый фрегат, сидящий на мели.

В руках маленького пса угас последний факел.

Наутро, перед отъездом из Монпрели, где он ночевал у майора Жилона, Габриэль Де Воос получил правую ногу оленя с еще свежей мягкой кожей, нарезанной полосками, – ее привез Лавердюр в обычной рабочей одежде. Посылку сопровождала тисненная карточка баронессы Франсуа Шудлер, на обороте которой было несколько слов, набросанных мелким торопливым почерком: «От моего дяди. Вы вполне это заслужили! Приезжайте охотиться, когда захотите».

5

Задвижка засова на воротах уже не входила в скобу; ее заменила цепочка с большим висячим замком, которым по вечерам и запирали ворота. Двор был усеян старыми колесами от тачек, вышедшими из употребления садовыми инструментами, сельской утварью. Конюшня была пуста. Тонкая струйка мочи сочилась из стойла, где еще оставалась одна корова. За провисшей сеткой бродили куры, утопая в собственном помете.

Симон Лашом не приезжал в Мюро, когда умер его отец.

Последний раз он был здесь больше десяти лет назад, да и то проездом, на несколько часов, получив увольнительную в конце войны. Вид родимого дома, который всегда представлял в его памяти убогим и презренным, неожиданно вызвал в нем прилив нежности, мимолетной, необъяснимой и глупой.

Все было разъедено, все проржавело, все сгнило от старости и дождей. Ставни слетели с петель, штукатурка большими кусками отстала от стен, обнажив старую дранку; крыши осели, и Симон шагал по осыпавшейся черепице, хрустевшей, точно сахар, у него под ногами.

Мамаша Лашом работала в саду, пригнувшись к земле. Сначала Симон увидел только огромный черный зад старухи.

– Мама, – окликнул он.

Мамаша Лашом обернулась, медленно, с трудом, выпрямилась и посмотрела на сына, шедшего к ней между двумя рядами засохших яблонь.

– Смотри-ка, это ты, – произнесла она, никак иначе не выказывая своего удивления. – Если б ты не сказал «мама», я бы тебя небось и не узнала. Гляди, и облысел уж совсем, и растолстел, и одет как барин.

Симон машинально провел рукой по оголенному лбу, где лишь посередине остался пучок коротких каштановых волос.

Мать и сын не расцеловались. Еще несколько мгновений они изучали друг друга, высматривая, какие изменения произошли в каждом.

Мамаша Лашом двигалась мало. Она являла собой все ту же бесформенную колышущую массу. Только правое веко у нее закрылось, толстое, как скорлупа грецкого ореха, и на щеках появились седые волоски, а между волосами на голове, забранными в пучок, широкими розовыми проплешинами светилась кожа.

– Раз уж ты себя побеспокоил, знать, большая у тебя нужда поговорить со мной, – вытерев руки о бока, наконец произнесла она. – Давай зайдем в дом.

Даже в старости она не согнулась и по-прежнему на полголовы возвышалась над сыном. Они шли бок о бок по заросшей травой дорожке, чувствуя себя совсем чужими, и все же было между ними какое-то сходство: у обоих на голове осталось совсем мало волос, у обоих тяжелая походка враскачку, оба несли в себе свои болезни, она – фиброму и водянку, затаившуюся под грязным передником, он – уже заметный животик сорокалетнего, слишком хорошо питающегося человека.

Симон оглядывал землю по обе стороны дорожки, наполовину перекопанную в залежь: первое волнение уже угасло в нем. Старуха шла, все укрепляясь в своем подозрении, не обращая, казалось, внимания ни на что. Перед порогом кухни она сбросила сабо.

В просторной темной комнате на Симона тотчас дохнуло запахом перебродившего вина, прокисшего молока, дыма и грязной воды после мойки посуды – запахом, который сопровождал его в детстве: так пахло от матери, так пахло все – предметы, ткани, продукты, воспоминания. Исчез только едкий запах пота, добавлявшийся раньше, когда был жив отец.

И Симон тотчас перевел взгляд на нишу между очагом и ларем для хлеба, зная, что увидит сейчас самое тягостное из всего, что мог предложить ему отчий дом.

Скорее скорчившись, чем сидя на стареньком, продавленном стульчике, брат Симона дул на крылья примитивной мельницы из двух насаженных крест-накрест на веточку бузины кусков картона.

– Пойди сюда, Луи, пойди поздоровайся, – сказала мамаша Лашом. – Давай не бойся, это Симон.

Существо, которое неуклюже поднялось с места, опираясь на ларь, было в коротких штанах и черном фартуке. Он двигался, как разлаженный автомат, выбрасывая вперед тщедушные ноги и вывернутые руки. Он был выше Симона. Кожа на его лице, на скрюченных кистях рук, на торчащих коленях была всюду холодного цвета зеленоватой бронзы; на яйцевидном лице, обрамленном двумя прядями, выбившимися из-под берета, не было ни единой морщинки. Отвислая губа блестела от слюны. Черные, бархатистые глубокие глаза чудовищно косили.

Идиот пробормотал: «...звуй», втянул слюну и, вернувшись в свой угол, взгромоздился на ларь и свесил ноги.

– Вот видишь, он молодцом. Он сейчас очень смирный, – сказала мамаша Лашом.

Симон взял стул, который оказался до того грязным, что он, по прежней крестьянской привычке, сядясь, задрал полы пальто.

– Сколько же ему теперь лет? – спросил он.

– Ох, это трудно сосчитать, – ответила старуха. – Он на три года старше тебя. Выходит, ему сорок четыре.

Идиот, бросив мельницу на пол, взял школьную грифельную доску и принялся, скрипя карандашом, чертить какие-то непонятные знаки.

– Вообще-то, – сказала мамаша Лашом, – он ведь вроде тебя: если бы мог, он бы тоже хорошо учился.

Наступила пауза.

– Выпьешь немного? – снова заговорила она, направляясь к буфету за бутылкой.

Она предлагала ему выпить, точно постороннему, и, точно посторонний, он решил не отказываться от стаканчика обжигающей водки, чтобы не обидеть ее.

– Хороша, – промолвил он.

– Эту как раз и отец твой любил, – подхватила она. – Э-э! За каждым водится грешок. Теперь-то, когда его уже нет, меня это больше не мучает.

Она тоже наконец села и умолкла, разглядывая Симона из-под века, похожего на половинку грецкого ореха.

– Ты в прошлом месяце деньги получила? – спросил он, пытаясь завязать беседу.

Симон регулярно посылал матери перевод на триста франков, в которых она, впрочем, совершенно не нуждалась. Она с жадностью прятала эти три ежемесячно получаемых банкноты в старую коробку из-под печенья, где они и копились.

– Да-да, – ответила она. – Спасибо тебе. Ох! В этом мне на тебя жаловаться не приходится. Не то что раньше. Я как раз давеча говорила мамаше Федешьен: «Есть у меня чем гордиться. Есть у меня сын, он в нищете мать не оставит. Он благодарен за все, что для него сделали».

Только тут мамаша Лашом, казалось, почувствовала некоторое волнение от встречи с сыном. Белесая влага показалась из-под тяжелого века – она задрала юбку и, отыскав в кармане фиолетовой, задубевшей от жира нижней юбки носовой платок, вытерла глаза.

– Ну вот... все ж таки приехал... все ж таки приехал, – несколько раз повторила она, судорожно вздыхая.

– Я выдвигаю свою кандидатуру в депутаты, – проговорил Симон.

– Это что же, выходит, ты будешь депутатом? – спросила мамаша Лашом, перестав вытирать глаза.

– Возможно... надеюсь.

– Ну, раз надо, чтоб были они, дармоеды-то эти, так лучше уж ты будь, а не кто другой, который этим воспользуется.

Симон попытался ей объяснить, почему он выдвигает свою кандидатуру в родном департаменте и какие у него шансы. Он нашел простые слова, чтобы выразить то, что явилось следствием многолетнего упорного притворства, сотен деловых обедов, стольких нужных контактов и умелой лести, наконец, стольких утренних часов, проведенных с карандашом в руке над сетью поперечных линий и пунктиров, сероватых пятен и заштрихованных мест, составлявших карту выборной кампании во Франции.

Теперь все решено, все поставлено на место: у Симона есть поддержка, есть деньги, есть агенты, есть газеты.

Мамаша Лашом, вновь подозрительно насторожившись и приспустив веко, слушала, казалось, ничего не понимая. То, что ее сын стал таким важным человеком, что он ужинает с министрами и разными президентами, нисколько ее не трогало. Все это происходило в мире, беспредельно для нее далеком, как, скажем, Индия, и никакой рассказ не мог ей дать о нем представление. Она думала, что президент Республики по-прежнему Эмиль Любе.

– А ему что ж, выходит, не сын будет наследовать? – Потом вдруг, глядя на лацкан пальто Симона, она спросила: – А Почетный легион-то твой деньги приносит?

– Нет, – ответил Симон.

– Надо же, странно. Потому что у нового-то учителя – ты его не знаешь, – так вот, у него медаль, и он за нее получает.

Симон почувствовал, что теряет время зря. Дурачок с противным, бьющим по нервам скрипом по-прежнему водил грифелем по грифельной доске.

– Я тут снял дом в Жемоне, ты знаешь, дом Кардиналов, – проговорил Симон.

– Раз снял, значит он тебе по вкусу.

– Нет, дело не в этом, а в том, что мне это нужно.

– Ну, коли думать о деньгах – сколько тебе это будет стоить, – так лучше бы уж в новом расположиться, чем в этой-то развалине.

«Развалина», о которой говорила мамаша Лашом, находилась в нескольких километрах от ее дома, в соседнем кантоне. Ансамбль зданий состоял из большого квадратного дома с черепичной крышей, бывшего когда-то домом приходского священника, к которому в XVIII веке был пристроен превосходный жилой корпус из белого камня. Десять комнат. Аллея двухсотлетних лип и большой, спускающийся к реке луг, который зимой наполовину затопляло. Словом, дом этот, будь он расположен не в городке и не принадлежи он обычному пенсионеру, мог бы именоваться «маленьким замком».

Он был достаточно просторен, чтобы внушить почтение избирателям, но все же не настолько, чтобы казаться чрезмерно роскошным. А главное, он позволит забыть дом в Мюро.

– Я думаю, бессмысленно нам иметь два дома, – заговорил Симон. – Так что лучше будет, если ты поселишься со мной, а этот дом мы бы продали.

Мамаша Лашом слегка выпрямилась на стуле и пристально посмотрела на сына своими глазами без ресниц – один глаз у нее был круглый, как глаз ночной птицы, а другой почти закрыт.

– А-а! Вот, значит, для чего ты явился... – прошептала она. Помолчала минуту и медленно произнесла: – Нет. К чужим я не пойду.

– Но, мама, я ведь не чужой!

– Я знаю, что говорю. Во-первых, там будет твоя жена.

– Да нет же, мама. Ты ведь знаешь, мы с Ивонной уже много лет живем врозь. Мы и в Париже не живем вместе. Даже не встречаемся.

– А зачем же ты тогда, скажи на милость, на ней женился? – осведомилась старуха.

Симон пожал плечами и подумал: «Ну вот, опять все сначала».

– И потом, тут все мое, – продолжала она. – А тот дом – чужой, не поеду я туда.

Симон объяснил ей, что заключил арендный договор, предусматривающий продажу дома. И если выборы пройдут удачно, он купит его.

– А если тебя не выберут?

– Ну, тогда мы будем снимать его до...

Он чуть не сказал «до твоей смерти», но осекся, однако старуха поняла.

– Тогда почему ты не хочешь, чтобы я подошла здесь? – сказала она. – И кладбище тут рядом. Тебе не так долго осталось ждать, пока я туда отправлюсь. Да и потом, не люблю я Жемон... Нет, сынок, нет, – продолжала она, – такие старухи, как я, с места на место уже не переезжают. Да и потом, в доме Кардиналов много лестниц. А мне с моими венами не под силу по ним ходить. Вот, взгляни!

Она снова подняла юбку, затем нижнюю юбку, обнажив огромные ноги, покрытые такими буграми, что можно было подумать, будто она умудрилась засунуть под грубый черный чулок никак не меньше дюжины яиц.

– Бывает даже, они гноятся, – не без гордости объявила она. – Нет, дружок, нет, не следует старикам жить вместе с молодыми. Ты должен с разными людьми встречаться, а я тебе много чести не прибавлю.

«Но еще больше ты позоришь меня, находясь здесь», – подумал Симон.

В его распоряжении оставалось совсем немного времени, чтобы вжиться в новую роль – сыграть «выходца из народа, из семьи простых тружеников, достигшего всего исключительно благодаря личным достоинствам и прославившего свой родной департамент».

А для этого нужно было стереть воспоминания об отце-пьянице, поместить мать в достойную полубуржуазную обстановку, избавиться от брата-идиота.

Симон знал, что настоящее благополучного человека в глазах толпы важнее его прошлого и что удача заставляет забыть даже преступление. Немного ловкости в сочетании с уверенностью в себе – на собрании избирателей никто не крикнет ему из зала: «Небось ты не был такой гордый, когда отец твой валялся в луже», а вместо этого старики-крестьяне полушутливо-полурастроганно скажут: «Ах! Господин Лашом, знатный он был человек, отец-то ваш, шутник был; помнится, в базарные дни мы с ним, бывало, вместе душу отводили», – и сочтут за честь вспомнить об их давней дружбе.

А о калеке скажут, понизив голос: «Что ж, такое горе в каждой семье может случиться...» – потом и вообще перестанут вспоминать.

– Да и вообще, твоему бедному брату хорошо тут у нас. Ему, может, совсем плохо будет в другом-то месте, – сказала мамаша Лашом.

– Вот как раз, что до Луи...

Симон посмотрел вглубь комнаты: теперь идиот сидел, поджав ноги, высоко задрав колени, упершись подбородком в холодную аспидную доску, и, словно животное, чувствующее приближение беды, не сводил скошенных глаз с гостя.

Симон инстинктивно понизил голос, хотя брат и так не мог его понять.

– Самое лучшее для него, да и для всех, я думаю, было бы поместить его в городскую богадельню... Естественно, не для бедняков, – поспешил добавить Симон. – Я буду платить за его содержание, чтобы он имел все, что нужно, и ты сможешь навещать его, когда захочешь. И ты не будешь тогда так от него уставать...

Лицо мамашы Лашом выражало столько угрозы, в открытом глазу вспыхнул такой огонь, что Симон запнулся.

– Вон оно что! Вон оно что! А, ну да, ну да! – воскликнула старуха. – Выходит, теперь ты хочешь упрятать своего брата в богадельню! Вот чего ты надумал! Да я лучше бы задушила его собственными руками, чем выслушивать попреки, что позволила запихнуть своего ребенка

в приют. Мало, что ли, я крест свой несла, чтобы все было как надо, так вот теперь, когда я совсем одна, его, значит, решили отобрать у меня. Вот оно что...

И она машинально принялась искать носовой платок, чтобы вытереть глаза, хотя и не плакала.

– Вот, выходит, и все, чем ты можешь отблагодарить? – продолжала она. – После всего, что для тебя сделали, что тебя выучили, когда другие парнишки в твоём возрасте уже всюю работали, а отцу твоему пришлось даже батрака вместо тебя нанимать... при нашей-то бедности... тебе, значит, нынче за нас стыдно, нет, вы видали, тебе нынче за нас стыдно! Да я пойду и скажу им, пойду и скажу: «Вот он какой, ваш распрекрасный депутат. Глядите на него! Выбросил мать на улицу, а брата запихнул в богадельню». Да я повсюду афиши расклею, ясно тебе, и пусть они читают, кто ты такой есть!

Она кричала, не вставая с места, брызгая слюной, уперев руки в бока, а её громадная отвислая грудь судорожно вздымалась.

Симон с ненавистью смотрел на эту массу жирных изношенных клеток, способную теперь исторгать лишь гной из язв, серу из ушей, сукровицу из глаз и все же пытавшуюся чинить препятствия его воле. И хотя эта наполовину сгнившая туша когда-то произвела его на свет, их ничто уже не соединяло – как ничто не соединяет дерево с пушистой плесенью, откуда вышел его росток.

– Хватит, а теперь помолчи! – вскричал Симон, разъярившись и стукнув ладонью по пыльному столу.

В эту минуту в глубине кухни послышалось какое-то бульканье – это идиот забавлялся, слушая их спор. Забывшись, он выпустил из рук грифельную доску, и та с грохотом раскололась, ударившись о каменный пол. Калека тотчас захныкал.

Мамаша Лашом, вне себя от злости, подобрала куски и сунула их под нос Симону.

– На, гляди! Гляди, что ты наделал! – закричала она.

Симон пожал плечами.

– Ну и что, я дам денег на другую, – сказал он.

И почувствовал вдруг глубочайшее отвращение. Ну почему он не выставил свою кандидатуру в другом округе, в каком угодно, на другом конце Франции.

На мгновение его охватило отчаяние. Не потому, что он боялся угроз мамашы Лашом. Но и заросший крапивой сад, и продымленная кухня, и калека, которому старуха мелкими движениями промокала теперь лицо, – все это слишком напоминало Симону то, что он надеялся забыть, что уничтожало его уверенность в себе.

Невозможно построить великую судьбу на столь жалкой почве. Ни одно из тех качеств, что привели его к успеху, не было врожденным. Все, что позволило ему возвыситься, было воспринято от учителей, от «хозяев», от женщин. В крови же у него были только упорство, беспринципность и эгоизм.

Достаточно ли крепкой окажется его непрочная, шаткая, построенная из ворованных материалов конструкция, чтобы он мог вознестись еще выше, не рухнет ли она, как только обстоятельства потребуют от Симона чего-то большего, чем собственная выгода?

– Лучше бы уж я был приютским ребенком, – глухо вымолвил он. – Материально большой разницы я бы не ощущал, зато хотя бы мог думать, что у меня были другие родители.

Произнеся это, Симон высказал сокровенную мечту, которую лелеял между шестью и двенадцатью годами, надеясь, что кто-нибудь однажды вдруг скажет, что он подкидыш.

– А я бы уж лучше тебя выкинула! – крикнула старуха. – Не видела бы тогда столько горя. Мари Федешьен не знает, как ей повезло, что она потеряла своего мальчишку на войне! А теперь заруби себе на носу, – продолжала она, обхватив рукой плечи калеки. – Никто не заставит нас отсюда уехать, покуда я не подохла... а за этим дело не станет, уж будь покоен.

– Рано радуешься, – проговорил Симон.

– А что до тебя, вот тебе Бог, а вот – порог, – отрезала она.

Симон поднялся, снял очки, провел рукой по курносому лицу, затем вновь надел их, предварительно протерев большими пальцами.

Старуха решила, что он смирился.

– Хорошо, – спокойно проговорил он. – Ты забываешь при всем при том, что я имею права на часть отцовского наследства, которые до сих пор не предъявлял. Но теперь, раз ты упрямисься, я потребую продажи. Все пойдет с торгов, а ты потом делай что хочешь.

– И ты такое вытворишь? – прошептала мамаша Лашом.

– На моей стороне закон, – ответил Симон.

Она чуть не ответила, что законы делаются против честных людей, но на сей раз удар был слишком жестоким, и она поняла, что Симон сильнее ее.

Она снова села, покачала головой и застыла в молчании. Симон выждал паузу, достаточную, чтобы мать могла в полной мере осознать свое поражение, затем, положив руку ей на плечо, тихо произнес:

– Ладно, мама, я вернусь на следующей неделе. Вот увидишь, в Жемоне тебе будет куда лучше.

«Может, мне и повезет, и я тут помру – тогда и переезжать не придется», – подумала мамаша Лашом, когда сын вышел.

Долго еще она сидела неподвижно, потом тяжело поднялась, пошла за лоханью, подтащила ее к печи и наполнила горячей водой.

– Давай, Луи, – позвала она, – идем помоемся. Нынче не банный день, но неважно. Пока пользуйся, бедный ты мой мальчик, – может, теперь я не часто смогу тебе помогать.

Она сняла с калеки детскую одежду, помогла залезть в лохань.

– Осторожней, не опрокинь.

И мамаша Лашом, заливаясь слезами, всецело отдалась счастливой усталости, купая в деревянной лохани голого сорокалетнего верзилу с искривленным позвоночником, бронзовой кожей и пустыми гениталиями, – взрослого младенца, воплотившего для нее самым примитивным, самым жутким образом заветную мечту всех матерей – навсегда оставить своих сыновей в состоянии детства.

6

Накануне дня, назначенного для переезда мамыши Лашом, калеку увезли на «скорой помощи», заказанной Симоном специально, чтобы соседи подумали, будто состояние несчастного внезапно ухудшилось.

Старуха прорыдала ночь напролет, собирая все внутренние силы в надежде умереть за те несколько часов, что ей осталось жить под крышей родного дома. Но ее мольба не была услышана.

Наутро мамыша Лашом пошла причаститься к первой мессе, затем поднялась на кладбище, чтобы взять горсть земли в мешочек, который она сунула в карман нижней юбки. Встав на колени у могил, она забормотала:

– Скоро и меня сюда принесут. Прямо вот тут, на днях, совсем на днях, и что же это я нынче ночью-то помереть не могла?

Почти одновременно с грузовиком для перевозки вещей подъехал на своей машине Симон.

Он спокойно, но быстро отдавал распоряжения, точно судья, выбравший утро для смертной казни.

– Это... это... это, – говорил он грузчикам, отбирая какие-то вещи, которыми еще можно было пользоваться. А мать останавливал: – Нет, мама, это не надо, оставь!

– Но это ведь может еще пригодиться, – стонала старуха.

Ему пришлось чуть не бороться с матерью, чтобы она не увезла с собой кучу старого прогнившего скарба, оплетенных бутылей для вина и прочей рухляди. Она цеплялась за все: за десять почтовых календарей, висевших на гвозде, один поверх другого, за три горшка на окне, где герани вымерзали каждую зиму, за сломанную деревянную солонку, чье место она так хорошо знала, что могла нащупать ее даже в темноте.

За каждый предмет она начинала битву, и каждое сражение она проигрывала.

Через каких-нибудь несколько минут ей предстояло расстаться со своим огородом, своей свинарней, своим проржавевшим инвентарем, со своей пустой конюшней, где она помнила всех трех лошадей, что сменились за время ее хозяйствования в доме, с двуколкой, в которой она ездила когда-то на рынок и которая теперь взывала к ней воздетыми в мольбе оглоблями.

Она лишится привязывавшей ее к жизни заботы о нескольких гектарах, разбросанных по землям общины; одни она оставляла под пар, другие сдавала в аренду на весьма странных условиях: «Будешь давать мне двести пятьдесят франков в год и еще мешок овса». Потом она выменивала овес на мед. А сплетни, которыми она обменивалась здесь с соседями, – люди в Жемоне ее совсем не интересовали, потому что она ничего о них не знала...

Доведенный до бешенства ее причитаниями, Симон в конце концов велел развести посреди двора большой костер и сам бросил туда все, что мать, по его мнению, не должна брать с собой. С неутихающей яростью он сдернул с окон засиженные мухами занавески, схватил полную охапку барахла, заполнявшего низ платяного шкафа, и полностью вытряхнул в огонь вместе с высохшими пробками, мотками пыльных веревок, треснувшими сабо.

Едкий густой дым поднимался от этой засаленной груды и стлался над гумном, коровником и домом.

Симон с черными руками, в покрытой пылью куртке (он без конца твердил себе: «Мог ли я подумать, что мне придется делать все это собственными руками!») созерцал и одновременно творил этот спектакль, испытывая неведомую дотоле жгучую, горькую, раскрепощающую гордость за себя. Голубоватые язычки пламени, плясавшие на отцовском головном уборе, столб дыма, уносивший семейный скарб, благотворно влияли на Симона, как влияют на нас символы

разгаданных снов, только в жизни получалось в тысячу раз сильнее, в тысячу раз действенное. И, как бывает во сне, он словно со стороны наблюдал за своими действиями.

Глядя на оседающий пепел почти закрывшимся глазом, мамаша Лашом все повторяла:

– Прямо вот тут, на днях! Совсем на днях... Тебе чуток осталось ждать.

Она крепко прижимала к груди коробку из-под печенья, куда прятала деньги.

Когда сдвинули с места буфет, штук пятьдесят золотых монет покатались по земле с резким и радостным звоном. Мамаша Лашом, вконец обезумев от предстоящего отъезда, который был для нее концом света, забыла про свой тайник. На ее лице проступили смущение и испуг. Симон насмешливо и злобно посмотрел на нее.

– То-то ты порадовался, что нашел их! – крикнула она ему. – Это уж – я могу быть спокойна – ты в огонь не бросишь.

Когда все было вынесено и на стенах с отметинами в тех местах, где стояла мебель, остались лишь толстые, как покрывала, сети паутины, старуха обошла все три почернелые и запаршивевшие комнаты, которые вдруг стали значительно больше. Затем веткой самшита, которую она сумела спасти от гнева Симона, из кропильницы благословила дом, точно покойника.

Наконец она водрузила на свои розовые проплешины чепец в форме короны, расшитый черным бисером, и завязала ленты под подбородком. В заключение она объявила, что готова к отъезду. Однако пока они ехали по поселку, Симону пришлось трижды остановиться, чтобы она могла расцеловаться с Мари Федешьен, Мари Веде и Мари Шосон.

– Да не плачь ты, – говорили ей старухи. – Гляди, как тебе повезло: будешь жить в большом доме, и у сына твоего видишь какая машина – будет всюду тебя катать.

– Да-да, это уж точно – повезло, – отвечала мамаша Лашом, из тщеславия соглашаясь с ними. – Это я из-за моей кровати.

– А чего из-за кровати-то? Ты ведь берешь ее с собой?

– Да, но тут-то она стояла как положено, лицом ко гробу Господню. А там откуда я знаю, где он там, гроб-то?

– О! Да кюре тебе покажет, – успокоила ее Мари Веде.

В конце концов Симон увез мать, походившую на тюк мокрого белья.

Она боялась машины, и это немного отвлекло ее от переживаний.

– Ты что же, поехал не по дороге в Жемон? – спросила вдруг она.

– А мы проедем через Бурж, – ответил Симон, – я хочу сделать тебе сюрприз.

Она сидела настороже, растекшись на подушках, вздрагивая от ужаса всякий раз, как они кого-нибудь обгоняли.

В Бурже Симон остановил машину перед «Нувель Галери». Он решил одеть мать во все новое.

– Ох, нет, сынок, ох, нет, – простонала старуха, – ты же видишь, я и шагу ступить больше не могу. Да и вообще-то мне ничего не нужно. Нет, не могу я.

Но он безжалостно тащил из отдела в отдел, с этажа на этаж эту задыхающуюся грудку, двигавшуюся между прилавками, как корабль-сухогруз между причалами порта.

Он купил матери два черных платья, пальто, стопку толстого белого белья, обувь и гигантский корсет, твердый, словно доспехи, сшитый, казалось, из полотна для волосяных матрацев.

– Да зачем же столько денег-то зря тратить, раз я и поносить все это не успею? Ведь на днях-то уж мне ничего больше не понадобится!

Симон едва ли проявил бы больше стараний, вздумав приодеть какую-нибудь молоденькую работницу, намеченную в любовницы.

Выйдя из магазина, он остался доволен видом, какой приобрела старуха: теперь она выглядела как добропорядочная крестьянка, любящая мать, готовая плакать от радости при

каждом успехе сына. Он создал из нее скромную жительницу республиканского Эпиналя⁴, и ее присутствие в жемонском доме не только не скомпрометирует его, а, наоборот, поможет доказать, насколько он остался верен своим крестьянским корням. Народ охотно умиляется, глядя на хороших сыновей, и ценит семейные добродетели своих избранников.

– Говорю тебе, душит он меня, твой корсет, – проговорила мамаша Лашом, когда они выехали в предместья Буржа.

Она побагровела – костяной каркас, сдавливая ее, заставлял держаться прямо.

– Ничего, мама, ты привыкнешь, вот увидишь.

До самого Жемона старуха не произнесла больше ни слова. Въехав в городок, Симон вдруг резко затормозил.

– О! Первый плакат! – воскликнул он. И выпрыгнул из машины. Щиты избирательной кампании на деревянных подпорках выстроились у серого здания школы. Щит Симона значился под номером три. «Хорошее число», – подумал он. Еще не просохший клей подчеркивал грубую фактуру бумаги соломенного цвета.

На плакате по заказу Симона был изображен большой его портрет. Тысячи поблескивавших от сырости чернильных точек создавали его изображение вполоборота: пучок волос посреди лба, квадратный подбородок, властный, почти вызывающий взгляд за стеклами очков – словом, одно из тех лиц, которые называют некрасивыми, но интересными.

Симон бросил взгляд на рекламу своих конкурентов, потом на свой щит, рассматривая его с удовлетворением, будто перед ним зеркало. Ему приятно было перечитать напечатанные жирным шрифтом свои звания – порядок их он помнил наизусть, ибо сам тщательно подобрал, расставил и взвесил список, который представлял его на суд избирателей.

СИМОН ЛАШОМ

41 год

Кавалер ордена Почетного легиона

Доцент университета

Доктор филологии

Бывший преподаватель парижских лицеев

Бывший заместитель заведующего

кабинетом министра просвещения

Журналист

Генеральный секретарь «Эко дю матен»

Вице-президент

Ассоциации профессиональных журналистов

Лейтенант запаса

Ветеран

Такой перечень не мог не произвести впечатления на избирателей, но прежде всего был бальзамом для него самого. «Это я, все это я, – думал он. – И добился я всего сам».

Ему казалось, что он и породил себя сам, и предки его – это университет, министерские приемные, редакции газет, директорские кабинеты. Только это и казалось ему истинным, тогда как старуха, сидевшая в машине, скованная слишком тесным корсетом, казалась ему ненастоящей, несуществующей, чем-то вроде лжесвидетельства о прошлом или в лучшем случае – ошибкой бросающей кости судьбы. «В самом деле, надо же мне было где-то родиться...»

– Нехорошо что-то мне, – тихо проговорила мамаша Лашом, когда Симон снова влез в машину. – Точно у меня в голове что-то лопнуло.

⁴ Эпиналь – административный центр департамента Вогезы на северо-востоке Франции.

Только тут Симон соблаговолил посмотреть на старуху немного внимательнее. Глаз с опущенным веком сделался багровым, на лбу с той же стороны внезапно проступила плотная тонкая лиловатая сеть, напоминавшая прожилки листа, словно его сорвало осенним ветром и прилепило там.

«Ничего не поделаешь, – подумал Симон, – иначе быть не могло – она или я!»

7

Майор Жилон, положив шляпу на колени и разместив широкий зад поперек слишком низкого креслица, обитого белым атласом, следил страдальческими глазами за перемещениями по комнате Сильвены Дюаль.

Шарль Жилон, почетный командир эскадрона, бывший драгун и адъютант генерала де Ла Моннери, ушел из армии вскоре после выхода в отставку своего командира и укрылся в родовом поместье Монпрели, где лучшую часть времени проводил на охоте с командой Моглева; он принадлежал к тем холостякам, постаревшим до срока, чей эгоизм составляет основу натуры, но чьи бездеятельность, тщеславие, потребность «себя показать», желание сыграть роль покровителя или рассказывать об услугах, оказанных неблагодарным, всегда приводят к активному участию в сложных ситуациях, касающихся других. Это они бывают обычно свидетелями на дуэлях, и им всегда поручают сообщить о чьей-нибудь кончине или разрыве.

Сильвена Дюаль гневным жестом выпростала обнаженные руки из рукавов зеленого шелкового халата.

– Нет, в самом деле, сплошной восторг! – воскликнула она, хлопнув себя ладонями по лбу. – У нашего доблестного воина не хватает даже храбрости явиться самому!

Она презрительно хмыкнула и зашагала по ковру – от окна к зеркальному шкафу и от шкафа к окну. Рыжие волосы, блестящие, ухоженные, образуя круглый, как шапка, ореол вокруг ее головы, подрагивали, точно медная стружка в бликах солнечных лучей. Зеленые, глубоко посаженные глаза сверкали.

Сильвене было двадцать пять лет. Две крохотные, короткие, как лебединый пух, морщинки лучились в углах ее век – залягут они поглубже лишь через несколько лет, а пока просто наметили для себя место.

– Вы же знаете, что Габриэль, в сущности, человек очень добрый, – сказал Жилон, – и ему это так же больно, как вам...

Он чувствовал, что исчерпал все аргументы, ударился в самые банальные истины, и мучительно соображал, как подобраться к концу миссии.

«Эх! Надо же мне было впутаться во всю эту историю», – без конца твердил он себе. И так довольно неуклюжий дипломат, Жилон в данном случае был еще и весьма взволнован физической привлекательностью Сильвены – ее тугим, прекрасным, жарким телом под облегающим пеньюаром, длинными гладкими ногами, отражавшимися в зеркале шкафа, когда пеньюар распахивался, ее женским, чуть пряным запахом... «Да, Габриэль, чувствуется, не скучал», – подумал он.

И все, что Жилон слышал о молодой актрисе: что поначалу она была проституткой в ночном клубе, что она разорила Люсьена Моблана, единоутробного брата де Ла Моннери, что она переспала со всем светом, что она лесбиянка, что она подозрительная особа, – словом, все, что он считал частично правдой, а частично ложью, наговорами и выдумками, сейчас и вовсе исчезло, рассыпалось в прах. «Ведь, в сущности, она просто несчастная, страдающая девчонка...»

Говорили же ему, что Сильвена – тощая, некрасивая, глупая и вульгарная. «Меня это всегда удивляло: ведь у Габриэля не такой уж плохой вкус».

Жилон не подозревал, что те, кто так говорил, знали Сильвену в ту не столь отдаленную пору, когда она была всего лишь растерянной, запуганной голодом девчонкой, торговавшей собою из необходимости, корыстолюбивой из желания пробиться, взять реванш, порочной от нетерпения и развращенной стариками, – иными словами, прежде чем материальное благополучие, которым она теперь обладала, растущие успехи в театре, соприкосновение с парижским обществом и связь, физически удовлетворявшая ее больше, чем предыдущие, – та связь, об

окончании которой и пришел ей сообщить Жилон, – позволили Сильвене расцвести так, как она цвела сейчас.

– И отвратительнее всего даже не сам факт, а то, как он это сделал! – вскричала она.

– О, знаете, когда один человек причиняет другому боль, – отозвался Жилон, – это всегда не слишком красиво.

– Прислать ко мне человека, которого я даже не знаю... чтобы, наверно, еще больше меня унижить, – продолжала Сильвена, не слушая его.

– Ну что вы, я дружу с Габриэлем уже пятнадцать лет. Я был его инструктором на Сомюре...

– Да мне-то что до этого, – оборвала бывшего драгуна Сильвена, остановившись перед ним. – Впрочем, я, пожалуй, даже рада с вами познакомиться! Потому что вы во всем виноваты, вы, и ваша псовая охота, и ваша банда грязных снобов, но главное – вы! Вы его на это толкнули! Всю зиму я только и слышала: «Мне необходимо заняться спортом. В Париже я совсем не двигаюсь... Я возьму машину, котик... Съезжу дня на три к миляге Жилону...» И я позволила обвести себя вокруг пальца, как... как полная идиотка!

– Да нет, ну что вы, я тут совершенно ни при чем, – отвечал Жилон, в то время как перед глазами у него под тонким, цвета морских водорослей шелком колыхались груди Сильвены.

«Так, что же еще-то я должен сделать? – подумал он. – Ах да, коробочка и вещи...»

– Согласитесь, – вновь заговорила Сильвена, – согласитесь, что ему прощения нет! Он бросает меня самым подлым образом, самым низким, точно я самая что ни на есть дешевая шлюха!

«Так ты как раз и есть это самое, девочка моя, какой бы аппетитной ты ни была», – подумал Жилон. Мысль эта тотчас отразилась на его открытом лице, и Сильвена накинута на него с новой силой.

– Так вот, самая что ни на есть дешевая шлюха никогда не сделала бы для него того, что сделала я. Как подумаешь, что целых два года он жил здесь. И оплачивала все я – я оплачивала его портного, я давала ему деньги на скачки, которые он бездарно проигрывал. Господин капитан всегда должен был на следующей неделе что-то получить!.. Да как подумаешь... И знаете, во что мне ваш Габриэль обошелся...

– Да... да... знаю, как раз по этому поводу я и... – воспользовавшись паузой, вымолвил Жилон.

Он вынул из кармана плоскую красную кожаную коробку. Большим знатоком по части обхождения с дамами он никогда себя не считал, и Сильвена казалась ему таинственной, опасной, точно неведомый зверь. Он боялся, как бы она не бросила коробку ему в физиономию.

– ...Габриэль поручил мне передать вам вот это...

Сильвена молча взяла коробку, открыла и даже бровью не повела, увидев браслет из белого золота с изумрудами.

Помимо браслета, в ней лежал сложенный чек. Красный атлас, зеленые камни и голубой чек не слишком удачно сочетались по цвету. Сильвена развернула чек и пожала плечами. Он не покрывал и четверти того, что она потратила на Габриэля.

На мгновение ей захотелось сделать то, чего так боялся Жилон. Однако крепкая фигура майора и добродушное безразличие, с каким он относился к отсутствию двух зубов, – которое было заметно, когда он говорил, – не могли не подействовать на Сильвену.

– Я предпочитаю не заниматься подсчетами, – сухо произнесла она, бросая коробку, чек и браслет на застеленную покрывалом кровать.

Из чего Жилон, облегченно вздохнув, сделал вывод, что Габриэль проявил достаточную щедрость.

– Габриэль сам его выбирал, – поспешил добавить он.

– Ах, значит, он в Париже! – воскликнула Сильвена.

Жилон, купивший браслет не далее как утром, тотчас почувствовал, насколько глупо и бессмысленно звучала его ложь.

– Нет... Нет... – ответил он. – Габриэль... он заказал его, когда приезжал в последний раз.

– Выходит, когда он приезжал в последний раз, – проговорила Сильвена, угрожающе чеканя слова, – это было уже решено? И он мне ничего не сказал и явился сюда спать, как обычно, как к себе домой, и... Ну и скотина!

Жилон дергал себя за короткие усы, сгорая от стыда не из-за проклятий, посылаемых Габриэлю, а из-за собственной глупости.

– А не можете ли вы мне сказать, – спросила Сильвена, внезапно успокоившись, – откуда он взял эти... деньги? – И она указала на покрывало.

– Наверное... наверное, он их занял...

– Знаете, что он такое, ваш Габриэль? – произнесла Сильвена, глядя ему в глаза. – Так вот, он самый настоящий сутенер! Он нашел женщину богаче меня, с титулом, с замком – словом, со всем, что ему нужно. Он женится на денежном мешке, да притом на толстом. Он любит комфорт, и он его получит. Он даже получит в придачу детей. Он самый настоящий сутенер – вот и все. А что до его Жаклин Шудлер...

– О нет, я запрещаю вам говорить о ней дурно! – воскликнул Жилон. – Она замечательная женщина!

– Замечательная женщина. Ну и насмешили! Знаю я ваших Шудлеров, притом гораздо лучше, чем вы думаете. Я знаю все – похождения папаши, самоубийство сына... семейка что надо. А теперь безутешная вдова, и некрасивая, и не такая уж молоденькая, покупает себе красавца Де Вооса, чтобы не так было скучно по ночам. И дает ему денег, чтобы избавиться от меня и сохранить респектабельность... Я не спрашиваю вас, – продолжала она, – с каких пор они вместе спят – мне на это в высшей степени наплевать. Я просто думаю, что она должна исповедоваться всякий раз, как позанимается любовью... Идите, господин майор, идите, вы исполнили свой долг. А вот они, – добавила она, угрожающе подняв палец, – они меня еще вспомнят.

Жилон поднялся, но не похоже было, чтобы он собирался уходить.

– Раз уж я здесь, – нерешительно сказал он, – вам не кажется, что мне следовало бы... забрать его вещи? Это избавит...

Говоря это, он подошел к стеклянному канделябру, давно уже привлекавшему его внимание.

– Как? Да вы что? – воскликнула Сильвена, принужденно рассмеявшись. – Прямо сейчас? Чтобы ничего больше от него тут и не осталось?! Эмильена! – позвала она.

Вошла миниатюрная горничная, с видом, соответствующим обстоятельствам, то есть с видом полного неведения. Квартирка на Неаполитанской улице была совсем крохотная, и трудно было предположить, чтобы Эмильена не подслушивала.

– Уложите вещи господина Де Вооса в его чемоданы, – приказала ей Сильвена. – Господин Де Воос вынужден на некоторое время уехать...

«Зачем я, дура, ей объясняю? Кого я хочу обмануть?» – подумала она.

– Все вещи господина Де Вооса?

– Да-да, все! Я же вам сказала! – потеряв терпение, закричала Сильвена. И одновременно подумала: «Какой же я была тупицей, ну какой тупицей, какой!»

Она пронеслась по квартире, лихорадочно открывая ящики, собирая: там трубку, тут блокноты, пакет писем, пуговицы для манжет, несколько книжек, – словом, все то, что оседает по комодам и шкафам за время семейной жизни. «Какая я тупица! Ну какая тупица!» И она кучей швырнула свою скудную добычу в раскрытую дорожную сумку.

– Ах да, еще вот это, пусть подарит ее вдове, – промолвила Сильвена, выдирая из красной кожаной рамки, стоявшей на комод, фотографию Габриэля в кепи, чуть надвинутую на лоб.

В гардеробной горничная тщательно складывала одежду.

– Да ну же! Скорее, скорей! – торопила ее Сильвена.

Фрак Габриэля висел среди ее платьев.

– Оставьте! – прошептала она, заталкивая его подальше вглубь. «Не пойдет он красоваться во фраке, который я ему подарила, – подумала Сильвена. – Она купит ему другой... Господи, до чего же он был в нем хорош, и какой счастливой я себя... Нет, нет! Плакать я не стану, плакать не стану... И потом, не позволю я насмехаться надо мной и топтать меня ногами!»

– И передайте ему, – вскричала она, внезапно подойдя к Жилону, – что он еще не женат! А мне на все плевать, ясно вам, мне терять нечего и нечего бояться. И я устрою ему знатный скандалчик...

Жилону пришлось трижды возвращаться, чтобы перенести все вещи в машину, – он отдувался, вздыхал.

«Да! Долго я буду помнить этот визит, – думал он. – Но в конце-то концов, все могло пройти и хуже. Короче говоря, Габриэлю я оказал бесценную услугу. Расскажи она все это кому-нибудь другому...»

Собираясь в последний раз выйти за порог, Жилон обернулся – сзади раздался звон разбитого стекла. Канделябр лежал на полу, разлетевшись вдребезги.

– Случайно получилось, – проговорила Сильвена, которая, стремясь успокоиться, решила выместить на канделябре свою злость.

Жилон, мгновение поколебавшись, еще раз оглядел молодую женщину, начиная от пышных рыжих волос и кончая бархатными домашними туфлями, и решил, хотя и с некоторым опозданием, поработать немного и на себя.

– Послушайте, детка, вам, быть может, покажется сейчас немножко одиноко... я пробуду несколько дней в Париже...

– О нет, месье, прошу вас! – отрезала Сильвена, захлопывая за ним дверь.

8

Всего час назад Сильвена думала: «Когда послезавтра придет Габриэль...» И вдруг звонок в дверь, этот незнакомец, севший бочком на кресло... и вот все кончено. Она не могла бы точно вспомнить, о чем она думала в течение этого часа. Она не могла понять, страдает она от досады, от унижения или действительно от любви.

Ей было ясно одно: в этой квартире она больше жить не сможет.

«Но куда ехать? Мне и ехать никуда не хочется».

Взгляд ее, пока она ходила по комнате, упал на чек, и машинально она принялась подсчитывать, сколько у нее осталось от тех двух миллионов, что дал ей четыре года назад Люлю Моблан на двух близнецов, к которым не имели отношения ни он, ни даже она, то есть от суммы, сделавшей ее богатой, как ей казалось, до конца дней, – в банке теперь лежало тысяч двести. Остальное улетучилось – пошло на редкие цветы, духи, экзотические сигареты. Она покупала платья из одной только радости покупать, по двадцать платьев, и, надев раза три, отдавала почти даром. У нее были меха, книги в роскошных переплетах, не представлявшие никакой ценности украшения – она не покупала их, ибо ей казалось, что украшения должны дарить мужчины. Возможность заходить в магазины, заказывать все, на чем мимолетно задерживался ее взгляд, загромождать свою жизнь бесполезными вещами, которые ей тотчас надоедали, останавливаясь, путешествуя, в самых дорогих отелях, умудряясь при этом бесконечными требованиями дополнительных услуг увеличивать счет вдвое, создавала у нее впечатление, что она наконец играет в жизни ту роль, о которой всегда мечтала.

Но главным расточителем был Габриэль, который за неполных два года («Ведь правда, мы познакомились 11 апреля... Мог бы все-таки дождаться второй годовщины...»), постоянно пополняя свой гардероб, проигрывая на скачках, сидя в ночных барах, высосал из нее наверняка около миллиона. Автоматически она умножала все надвое. Габриэль был настоящей роскошью, которую она себе позволила как женщина.

«И при всем том оставаться в этой крохотной жалкой квартирке! О нет! Завтра же перееду в отель! И продам машину – не хочу я больше этой машины. Как подумаю, что он ездил на ней...»

Но все это имело второстепенное значение – Сильвена принадлежала к тем людям, которые начинают беспокоиться по-настоящему, лишь когда разменяют последнюю тысячефранковую бумажку, и именно по этой причине всю жизнь ходят по краю бездны.

Сейчас же важно было понять, любила ли она на самом деле Габриэля и любит ли еще она его.

Из ящичка ночного столика Сильвена достала другую фотографию Габриэля, которую не отдала Жилону, потому что предпочитала ее фотографии, стоявшей в рамке. Естественно, в квартире осталось еще достаточно вещей ее любовника. Например, мундштук из слоновой кости, который она взяла в губы, желая как бы соприкоснуться через него с хозяином. Вдохнув запах холодного табака, она бросилась на кровать и попыталась собраться с мыслями.

«Надо было мне пойти куда-нибудь сегодня вечером с Жилоном и переспать с ним потом. И чтобы Габриэль узнал об этом. Красивая получилась бы месть. Хотя, в сущности, ему было совершенно наплевать. Какое сейчас это могло бы иметь для него значение? К тому же уж больно старикашка уродлив, да еще и двух зубов не хватает!»

Сильвена предпочла вспомнить те несколько раз, когда она изменила Габриэлю либо с бывшими любовниками, либо со случайными партнерами; однако это ничуть не облегчило ее боли и не принесло успокоительного воспоминания о настоящей плотской радости. Габриэль был первым мужчиной, который сумел удовлетворить, и притом надолго, неумную чувствен-

ную жадность, толкавшую ее когда-то на отчаянные и беспорядочные поиски. Она любила его мускулы, его кожу, его вес...

«Сволочь... Ой, какая я дура...» На мгновение у нее пронеслась мысль покончить с собой в церкви во время его бракосочетания. У нее смертельно разболелась голова и кровь немилосердно стучала в затылке.

И вдруг ее охватило безудержное желание – оно перекрыло боль, вернее, переместило ее: Сильвене казалось, будто в животе у нее возник огненный шар, что-то вроде солнца, распадающегося снопами бенгальского огня. Стиснув челюсти, она скрестила ноги, сжала их, спаяла ляжки так сильно, что казалось, лопнут мышцы.

Внезапно тело ее конвульсивно содрогнулось – будто молния ударила в громоотвод и прошла по нему в землю.

Сильвена резко вскочила, испуганная, широко раскрыв глаза, словно потрясенная внезапным открытием.

Затем она снова упала на кровать, сотрясаясь в рыданиях, разметав свою роскошную рыжую шевелюру между коробкой, портретом и чеком.

9

Каждое утро, в восемь часов, к внушительному portalу особняка Шудлеров, расположенного на авеню Мессины, подкатывал большой черный четырехдверный «роллс-ройс» и отбывал по направлению к бульвару Османа. Прохожие, привлеченные видом одной из самых дорогих в мире машин, различали сидевших сзади двоих детей, которые в своей стеклянной клетке, окаймленной светлой обивкой, с подлокотниками и баром, казались парой принцев-карликов.

Машина останавливалась на улице Понтье, перед монастырем Птиц Небесных; шофер, сняв фуражку, распахивал дверцу и помогал выйти девочке, которой еще не было тогда и четырнадцати лет.

– Значит, в половине двенадцатого, Альбер, – говорила она нарочито громко слуге, только чтобы придать себе веса в глазах подружек, которые в то время оказывались рядом.

– Пока, Жан-Ноэль, – бросала она мальчику, остававшемуся в машине.

– Пока, Мари-Анж, – отвечал ей двенадцатилетний брат.

Машина трогалась в направлении Пасси и подвозила Жан-Ноэля ко входу в небольшой лицей Жансон-де-Сайи.

На сей раз шофер не выходил. Жан-Ноэль как можно более небрежно захлопывал тяжелую дверцу и, сразу окунаясь в шумную школьную суету, томно обращался к какому-нибудь мальчику из своего класса:

– Ну что, старик, как дела? Нынче у нас история с географией. Да еще час придется киснуть у отца Марена.

Жан-Ноэль носил короткие, английского образца брюки, которые приспускал до щиколоток, и ботинки на ребристой каучуковой подошве, большего размера. Таким образом, среди своих товарищей он считался авторитетом в области вкуса и элегантности.

Днем, когда Жан-Ноэль успевал уже изрядно вымазать руки чернилами, углем и пылью, когда он получил уже лучшую оценку за пересказ и когда на перемене, во дворе под каштанами, курчавый мальчик с толстым задом уже выложил ему несколько похабных историй, которые оба понимали довольно смутно, но которые приводили их в состояние непонятного возбуждения, Жан-Ноэль снова садился в ожидавший его у дверей лицея массивный «роллс». Ему приятно было убеждаться в том, что среди многочисленных машин, ожидавших учеников, машина его дедушки самая красивая, красивее даже, чем лимузин аргентинского посла.

Молодые, элегантно одетые матери целовали в лоб своих сыновей, которых возмущала эта ласка на глазах у всех. Старенькие няни пытались утащить злобно сопротивлявшихся мальчишек, а если им это не удавалось, они отходили в сторону, не мешая своим питомцам изображать независимость. Но самыми несчастными были те, кого забирали бабушки.

Жан-Ноэль разболтанной, но в то же время энергичной походкой прорезал небольшую толпу женщин и детей, сгрудившихся на широком тротуаре, занимавшем угол между авеню Анри Мартена и улицей Декана; затем, махнув на прощание курчавому мальчику с толстым задом, спускавшемуся по лестнице в метро, он падал на подушки «роллса», воображая себя уже крупным банкиром, послом, генералом или знаменитым академиком, который едет пообедать после того, как все утро он занимался делами исключительной важности, – безусловно, так и произойдет, ибо в его семье хватает людей, достигших весьма высокого положения.

Машина вновь остановилась на улице Понтье, где Мари-Анж разыгрывала нетерпение, а на самом деле с замиранием сердца слушала рассказы белокурой девочки, которая хвасталась, будто целовалась с мужчиной.

– Надо и тебе попробовать, знаешь, это приятно, – говорила она Мари-Анж. – Да и потом, ты ничем не рискуешь. Опасно только, если мальчик на тебя ляжет. Я как-нибудь, если хочешь,

поцелую тебя, чтобы ты поняла, как это здорово, хотя с девочкой это, конечно, не так интересно.

Что же все-таки делают мужчины, когда они ложатся на женщин, какие повторяют движения, какие ощущения можно испытать в этом запретном, таинственном и желанном мире?

Шофер захлопнул дверцу, шины зашелестели по асфальту.

В этот час дети из государственных школ тоже возвращались по домам, играя на мостовой, шаркая тяжелыми галошами, тузя друг друга, разметывая крылья пелерин. Однако Жан-Ноэль и Мари-Анж вышли из того возраста, когда завидовали им, – они уже не мечтали о том, чтобы гонять по берегу ручья продавленный мяч или прыгать на одной ноге по нарисованным мелом квадратикам классов, и уже не договаривались свистящим шепотом: «Потом сразу пойдем в парк, поиграем с городскими детишками».

Тот период, закончившийся лишь несколько месяцев назад, казался им уже бесконечно далеким.

Теперь Мари-Анж и Жан-Ноэль получали удовольствие от других вещей. Стараясь изо всех сил сохранять равнодушное выражение, они подмечали изумленные или завистливые взгляды прохожих, хватали на лету слова мальчишек, которые, присвистнув сквозь зубы, восклицали:

– Черт подери! Ну и тачка!

На лицах взрослых рабочих, с трудом крутивших педали велосипеда, усталых лоточников, нагруженных сумками домохозяек, бледных служащих они могли разглядеть такое же выражение.

И у них появилась ложная уверенность в том, что существуют два не похожих друг на друга мира, из которых один, привилегированный, ограничен стеклами машины, а второй, низший, начинается за этими же стеклами уже с фуражки шофера. Два мира, которые видят друг друга, но связаны между собой только тем, что один зависит от другого и подчиняется ему. Замкнутые в защищенном от внешнего воздействия мире, Жан-Ноэль и Мари-Анж с наслаждением тешили свою гордыню. Тем не менее зрелище слишком обнаженной нищеты, или вид слепца, который, стуча палкой, переходит улицу, или истощенной старухи в лохмотьях, или появлявшееся на некоторых лицах злобное, враждебное выражение вызывали в них мимолетное чувство вины и одновременно уязвимости. Вернее, не чувство, а едва заметное неприятное ощущение. Быть может, инстинкт смутно предупреждал их, что достаточно с предельной точностью бросить камень, чтобы расколоть холодную прозрачную стену, разделяющую два мира, и что именно так и вспыхивают революции.

Но они могли думать, что испытывают эту неловкость оттого, что еще маленькие, а повзрослев, никогда уже не будут стыдиться своего богатства.

К тому же они знали, что хороши собой, и это приумножало их право на всеобщее восхищение.

Волосы у Мари-Анж стали золотисто-каштановыми; большие зеленые глаза чуть удлинились к вискам, маленькие ноздри были тонко вырезаны, а тело обещало в скором будущем принять самые совершенные формы.

Жан-Ноэль, как и в детстве, сохранил светлые волосы; глаза его, скорее круглые, были глубокого синего цвета. У него уже сформировался длинный подбородок де Ла Моннери, и он удивительным образом походил на детский портрет своего деда, поэта.

Порода сказывалась не только в его точеном лице, но и в очертаниях узких рук и ног, в тонких запястьях и лодыжках, что редко бывает заметно в его возрасте.

Если Жан-Ноэль и завидовал еще свободе, какой пользовались уличные мальчишки, так только потому, что они могли вечерами шататься около ворот или бродить по паркам и подглядывать, спрятавшись позади скамейки, за какой-нибудь парочкой.

Он не решался говорить об этом с сестрой. Да и вряд ли Мари-Анж это знала. Он не решался даже пересказывать ей истории, поведанные курчавым мальчиком с толстым задом. Ему было стыдно за то, что он ищет с ним дружбы, даже обхаживает его, стыдно от его непристойных рассказов. И все же Жан-Ноэль не мог удержаться, глядя на тело сестры, чьи груди начали обрисовываться под строгим темно-синим платьем, – не мог удержаться и представлял себе – вернее, пытался себе представить – жесты и позы, которые открыл ему курчавый мальчик. И за это тоже ему было стыдно.

Что же до Мари-Анж, то и ей хотелось бы возвращаться домой пешком, ибо тогда она познала бы, какое испытываешь чувство, когда к тебе пристают на улице, а белокурая девочка, как она уверяла, сталкивалась с этим довольно часто. Мари-Анж размышляла, осмелится ли она когда-нибудь поцеловать мальчика в губы и не следует ли проделать это как-нибудь со своей подружкой.

Таким образом, обоих детей, помимо повседневной школьной рутины, переводов с латыни и зубрежки основ алгебры, что в тех высоконравственных заведениях, которые они посещали, им старались преподносить как наиболее важное в жизни, как магические формулы, открывающие в этом мире все двери, стали неотступно занимать, тревожа их души, вопросы секса и собственного достоинства.

Достаточно им было, засыпая вечером, вдруг почувствовать страх, что утром они не проснутся, достаточно было увидеть на серебряном подносе, где лежала почта, уведомление о чьей-нибудь кончине или время от времени утром задаться вопросом, зачем ты появился на этот свет, под необъятным, набрякшим тучами небом, и почему их отца уже нет с ними, тогда как столько стариков еще живы, – и появлялась еще одна тревога – страх смерти.

А потому у них были все основания раздражаться, когда взрослые со снисходительной улыбкой беседовали с ними.

– Так, значит, дети изучают гуманитарные науки? Но это же чудесно, – говорил солидный господин, чей подбородок шевелился где-то над их головами.

Конечно, они изучали гуманитарные науки! Но никто не помог им разобраться, когда пришла пора, в трех главных проблемах, стоящих перед человеком, – проблеме собственного достоинства, секса и смерти. Как и всем людям, им самим предстояло разгадать тайны крови и мироздания; самим разобраться в деталях, из которых складывается жизнь каждого в зависимости от условий его рождения и встреч, поджидающих его на избранном вслепую пути; самим, пройдя через множество мук, научиться обсуждать – в общих чертах или с научной или сугубо личной точки зрения – свои тревоги и определить, повинно ли в них общество, любовь и Бог; самим...

И они поймут тогда, что *взрослых* вообще не существует, потому что в своих собственных глазах мы никогда в полной мере не становимся взрослыми.

Но в то время когда большой черный автомобиль сворачивал на авеню Мессины и подкатывал к порталу особняка Шудлеров, другая, более настоящая, более конкретная тревога охватывала обоих детей и временно перекрывала их заботы и радости.

– Не знаешь, дедушка сегодня обедает дома? – спрашивал Жан-Ноэль.

– Думаю, да, – отвечала Мари-Анж.

И дети, чтобы придать себе мужества, глубоко вбирали в легкие воздух.

10

Барон Ноэль Шудлер, командор ордена Почетного легиона, управляющий Французским банком, владелец банка Шудлеров и «Эко дю матен», председатель совета директоров сахарных заводов в Соншели, копей в Зоа и множества других предприятий не меньшей значимости, потеряв, одного за другим, своего сына, барона Франсуа, ответственность за самоубийство которого Париж возлагал на него, Ноэля; затем отца, барона Зигфрида, умершего в возрасте почти ста лет от апоплексического удара, и, наконец, жену, баронессу Адель, медленно угасшую от рака яичника, – все неотвратимее погружался в одиночество, подстерегающее в старости всех тиранов.

Даже его невестка Жаклин, с осени почти безвыездно жившая в Моглеве, сбежала от него.

Таким образом, не зная, кого больше мучить, барон Ноэль решил перенести в этом году время обеда на час раньше, соответственно обеденному перерыву внуков.

Столовая особняка Шудлеров была величественна, но мрачна. Высокие посудные шкафы эбенового дерева были заставлены фарфором Ост-Индской компании и английским столовым серебром XVIII века. Четыре темных, поблескивавших лаком полотна в тяжелых золоченых рамах, которые скорее подошли бы для интерьера какого-нибудь замка, а не парижского дома, изобиловали фруктами, зеленью, мертвыми фазанами и рыбами цвета морской волны. Темно-красные бархатные портьеры, подхваченные посередине, красиво обрамляли листву сада, раскинувшегося за окном, но задерживали свет.

В последний понедельник апреля, на другой день после выборов в Законодательное собрание, Жан-Ноэль и Мари-Анж, уже давно терзаясь голодом, как обычно, ожидали деда, стоя у высоких дубовых стульев со спинками, обитыми кордовской кожей.

Мисс Мэйбл, их бывшая няня, ставшая потом гувернанткой, – Маб, как они звали ее, – также находилась в столовой.

На протяжении всего обеда Маб не произносила ни слова и лишь через равные промежутки времени делала языком какие-то странные движения, как бы отклеивая губы от крупных, выдающихся вперед зубов.

Наконец вошел барон, неся с мрачным и злым видом свою исполинскую фигуру и короткую бородку распутника, начавшую сесть; на нем был костюм из превосходной черной материи, который освежала лишь сидевшая на лацкане розетка.

– Ну до чего же неудобно обедать в такой час – весь день ломается, – проворчал он, – правда, если я не буду вами заниматься, кто же, интересно, будет... Придется позвонить директорам ваших школ и велеть, чтобы они изменили расписание уроков. Ерунда какая-то... Ну хорошо, садитесь!

Расположение приборов на столе, рассчитанном на двадцать персон, было весьма своеобразно. За высокими вазами и ажурными серебряными канделябрами было почти не видно детей, сидевших на большом расстоянии от деда и отделенных от него рядом пустых стульев. Ибо барон Ноэль требовал, чтобы места умерших оставались незанятыми. Создавалось впечатление, будто обед проходит в фамильном склепе.

Исполин получал болезненное удовольствие, вновь и вновь подсчитывая опустошения, произведенные судьбой, и в то же время как бы показывая детям, что они могут унаследовать эти места в награду за будущие заслуги, оценивать которые будет он, и только он.

– Жан-Ноэль, когда тебе исполнится пятнадцать лет, ты получишь право сесть на место твоего отца, а ты, Мари-Анж, когда тебе исполнится восемнадцать, сможешь занять стул твоей бабушки...

Дети едва решались поднять на него глаза.

Сквозь толстые веки барона виднелась лишь темная ниточка взгляда – словно в прорези, какими античные скульпторы изображали на бронзовых бюстах глаза. За отверстиями начиналась тревожная тьма. Временами там занимались красные всполохи – свидетельство гнева, всегда возможного, но непредсказуемого, – точно в полый бронзе внезапно вспыхивало пламя.

Но еще больше сковывала Мари-Анж и Жана-Ноэля правая рука деда, пухлая, в коричневых пятнах; она словно безостановочно катала хлебный шарик. Жест, казалось бы, вполне обычный, но никакого хлебного шарика не было – большой палец работал сам по себе, без предмета, потирая указательный и средний пальцы.

Дети не могли отвести от руки глаз – ее беспрестанное движение и притягивало их, и отталкивало, хотя они боялись, как бы дедушка этого не заметил.

– Да, – продолжал барон Ноэль, – если я не займусь вами... А теперь это будет и совсем необходимо. Поскольку, бедные вы мои малыши, скоро вы станете как бы полными сиротами... Ваша мать ведь сообщила вам, что выходит замуж... Нет? Ну так я вам сообщаю. Вы уже достаточно взрослые, и с вами можно говорить откровенно.

В первое мгновение дети пытались лишь собрать воедино некоторые свои предчувствия, перешептывания слуг, намеки Маб, не очень ясные, нежные слова матери во время ее последнего приезда: «В следующий раз я, возможно, сообщу вам важную новость...» Именно это она, разумеется, и имела в виду. И она выходит замуж наверняка за того очень высокого господина, которого они однажды видели и который вел себя с ними как-то двусмысленно, проявив несколько преувеличенный интерес и чрезмерную, но холодноватую любезность.

Таким образом, лишь только дед сказал им об этом, у них возникло впечатление, что они предупреждены уже давно, всё знали, и в сердце сразу же закралась тоска.

Ноэль Шудлер знал, что поступил сейчас очень дурно. Жаклин, которая должна была приехать послезавтра, настоятельно просила в последнем письме: *«Главное, отец, прошу Вас, не говорите ничего детям; я хочу рассказать им все сама...»* Но он не мог отказать себе в этом. Да и потом, почему он должен церемониться с кем бы то ни было, пусть даже с детьми? Разве судьба его щадила? Разве Фортуна не била его упорно и беспощадно, кося вокруг него головы и оставив его теперь одного в громадном мрачном доме?

А сколько вообще ему приходится терпеть, размышлял он, и это вполне оправдывает его расправы с невинными! Да одно то, что во рту у него не осталось ни единого зуба. И то, что в бороде сплошь седые волосы, и на груди тоже. И то, что по ночам он ворочается в тоске. Ну разве знают дети весь ужас бессонных ночей, когда в голове постоянно стучит вопрос: а не умрешь ли ты в следующую минуту? И то, что его одолевает боль в области сердца и в левом плече, которую профессор Лартуа упорно приписывает лишь нервам, а не грудной жабе. Но в конце-то концов, что этот Лартуа понимает? А кроме того, в последние месяцы его мучают приступы внезапной слабости, поражающей все его огромное тело. Никогда прежде не нападало на него необъяснимое сомнение в реальности окружающего мира, когда все кажется непонятным и странным.

Не говоря уж о тике правой руки – остановить его он никак не мог, хотя и отдавал себе в этом отчет.

И тем не менее в свои семьдесят два года он продолжал работать, что приводило его в восхищение. Много ли можно найти людей, которые в его годы сохранили всю свою активность и власть! И эти дети, которые сидят, уткнув нос в тарелку, там, на другом конце стола, за пустыми стульями усопших, всю жизнь будут пользоваться плодами его труда. Да, его трудом, ибо он взял на себя управление состоянием Жаклин, живет и она. И вот теперь жалкий, никчемный офицеришко без гроша в кармане будет тоже жить за его счет...

В узкой щелке глаз барона полыхнул багрянец. В полый бронзе занялось пламя.

– Если ваша мать хотела во что бы то ни стало выйти замуж за ничтожество, лучше бы уж нашла себе герцога! – воскликнул он. – Да и вообще, моя невестка могла взять себе кого угодно,

но Де Воос... Де Воос... с чем это едят? Какой вес придает его фламандской фамилии эта никчемная частица! Госпожа Де Воос! – произнес он, пожимая гигантскими плечами и забывая о том, что дворянство банкирской семьи Шудлер существует лишь со времени царствования Фердинанда II.

Аппетит у детей был совершенно испорчен. Напрасно дворецкий подносил им на тяжелых блюдах груды кушаний, над которыми, как от ладана, поднимался душистый дымок. Это была одна из новых причуд исполина: он требовал от поваров невиданного изобилия в меню. Сам он накладывал себе чудовищные порции и накидывался на них с жадностью ненасытного обжоры. Но дети заметили, что он отсылает тарелки, на три четверти полные.

– Ну хорошо, давайте лучше есть, – сказал он.

– Спасибо, дедушка, уверяю вас, я не голодна, – еле слышно отозвалась Мари-Анж.

В горле у нее стоял ком, и она не была уверена в том, что сумеет сдержать слезы, пока не кончится обед.

– Конечно, я понимаю: вы думаете о вашем отце, бедные мои малыши, – снова заговорил барон, продолжая лить им на раны яд. – Да! Жаль, что вы не успели его узнать получше! Достоинейший был человек! И как он вас любил!

Из глаз Мари-Анж неожиданно полились слезы и жемчужинками покатались по щекам. Однако ком, застрявший в горле, не стал от этого меньше.

Мисс Мэйбл, не решаясь выразить осуждение, языком отлепила губы от зубов.

Жан-Ноэль боялся взглянуть на сестру: он чувствовал, что и сам вот-вот расплатится. Однако к его горю примешивалась надежда на еще неясную, но упоительную месть. Разве не найдется способа убить этого мерзкого господина Де Вооса, который собирается отнять у него мать? Или, может, запугать его? Каждый день посылать ему письма с угрозами! Грела Жан-Ноэля также мысль о побеге, и он представлял себе, как мать с трагическим выражением лица повернется к Де Воосу со словами: «Мой сын уехал. Из-за вас!»

– Да, хорошего она ему нашла преемника, – снова заговорил барон Шудлер. – Уж если брать кого-то без роду без племени, так у нее был Симон Лашом, я двадцать раз говорил ей об этом. Вот вам пожалуйста, человек, который начал с нуля. А доберется до больших высот, и все потому, что его сделал я. Видали: со вчерашнего дня он – депутат. Прошел на выборах с первого тура, без перебаллотировки... Хотя тут я получаю удовлетворение.

Внутренняя ярость Жан-Ноэля перекинулась на Симона Лашома. Жан-Ноэль питал отвращение к этому невзрачному, неказистому человеку со стесанным подбородком и волосатыми пальцами. Отвращение к Лашому было тем сильнее, что во время трех обедов из четырех исполин ставил его внуку в пример; одного этого уже было достаточно, чтобы Жан-Ноэль возненавидел кого угодно, будь то Гинмер, Тюренн⁵ или сам Наполеон.

Жан-Ноэль задался вопросом, а любит ли он вообще кого-нибудь. Он не любил своего деда – это ясно, – хотя сегодня подспудно чувствовал себя его союзником против господина Де Вооса. Не любил он и бабушку Ла Моннери – она была костлявая, властная и глухая. Не слишком он любил и Маб – насквозь фальшивая и никогда их не защищает. Не любил своего курчавого товарища с толстым задом и не любил никого из преподавателей. А маму?.. Да, но теперь он не мог уже ее любить... теперь, когда между нею и этим человеком будет происходить то, что ему так хотелось бы подглядеть у парочек – в скверах или в спальнях...

Жан-Ноэль утвердился в мысли, что любит он только свою сестру и что они одни во всем мире. Ему захотелось встать, крепко обнять ее и успокоить, то есть поплакать вместе с ней.

⁵ Гинмер Жорж-Мари (1894–1917) – французский летчик. За ним числилось 54 выигранных боя; был сбит, командуя знаменитой эскадрилей «Журавли». Тюренн – Анри де ла Тур д’Овернь (1611–1675) – маршал, крупный французский полководец, участник Тридцатилетней войны, Фронды и первых войн Людовика XIV.

А исполин тем временем, не прекращая катать несуществующий хлебный шарик, продолжал свой монолог:

– Лашом – верный человек, на которого при любых обстоятельствах можно рассчитывать, ибо он всем мне обязан. А знаете ли вы, дети мои, что его место стоит мне триста тысяч франков? Но зато теперь в этой партии у меня есть свой человек. Хотя какая партия, кроме разве что революционеров, могла бы в чем-либо мне отказать?... Впрочем, даже и революционеры! – сказал он, усмехнувшись, после небольшой паузы. – Я уверен, они стоят дешевле других, потому что не привыкли к деньгам. На их беду, мы в них не нуждаемся – это-то их и злит... Ничто не может устоять против силы – вы еще это поймете, – как ничто не может устоять против денег.

Он продолжал разглагольствовать, подталкиваемый настоятельной потребностью слушать самого себя, свое обращение – вот уж абсурд – к аудитории, на шестьдесят лет моложе его.

– Ничто никогда не могло устоять против моей воли, потому что за мной всегда была сила и деньги... Ничто и никто, даже...

Он хотел сказать «мой сын», и черная нить его взгляда скользнула по пустому креслу, обещанному Жан-Ноэлю. Однако ему удалось сдержаться, и, выразив иносказательно обуревавшие его чувства, он заключил:

– Я ведь вроде Петра Великого.

В эту минуту доложили о Симоне Лашоме, который принес своему патрону и покровителю первые отклики на одержанную победу.

– Да-да, вот на кого вы всегда можете рассчитывать, – машинально повторил барон Ноэль.

Затем его лицо слегка расслабилось, свет в узких щелочках глаз потускнел, словно бронза наполнилась пеплом.

– Бедный ваш отец тоже хотел стать депутатом, – сказал он.

Мари-Анж без всякой связи с последними словами разрыдалась. Это наконец прорвался тот комок в горле, доставлявший ей невыносимое страдание. Девочка положила салфетку и, извинившись, вышла.

– Но ты-то, я надеюсь, не заплачешь? – спросил исполин, глядя, как у Жан-Ноэля задрожали густые ресницы и опустились уголки губ. – Мужчины не плачут. А тем более Шудлеры. Никогда!

Барон Ноэль проглотил обжигающий кофе, поднялся, подошел к мальчику и, положив тяжелую руку на его хрупкое плечо, сказал:

– Когда-нибудь ты вспомнишь. И когда-нибудь скажешь: «Был у меня дедушка, который не вовремя родился, – в другую эпоху он мог бы строить города, создавать промышленность, обогащать целые провинции. Словом, мог бы творить историю». Давай, малыш, желаю тебе до меня дотянуться, но, боюсь, не выйдет.

И, заполнив собою весь проем двери, он прошел навстречу гостю.

Через несколько минут, сидя в «роллс-ройсе», пока Мари-Анж промокала влажным платком лицо, чтобы не приезжать в школу с заплаканными глазами, Жан-Ноэль сказал:

– Тебе не кажется, что дедушка немного тронулся?

Но он прогнал эту мысль, едва произнес ее вслух. Нет! Человек, имеющий такую превосходную машину, окруженный такими вышколенными слугами, способный заплатить триста тысяч франков за место в парламенте, как другие платят за место в театре (о чем Жан-Ноэль не преминет похвастать перед своими товарищами: как-никак тоже утешение), такой человек уж точно не может тронуться.

11

Было решено, что свадьба состоится в Моглеве, в домашней часовне, в присутствии лишь нескольких близких и что в газетах о ней объявят только после бракосочетания.

«В двадцать лет в этом есть своя прелесть – предстать женихом и невестой, но в нашем возрасте собирать триста человек, чтобы ставить их в известность о том, что вечером... Нет, это просто смешно».

У Жаклин была уже когда-то пышная свадьба, и ей не хотелось вновь проходить через мэрию и церковь, где она сочеталась с Франсуа.

Габриэль, со своей стороны, мог опасаться в Париже какой-нибудь выходки Сильвены.

«В самом деле, я поступил с малышкой достаточно жестоко, – говорил он себе. – А что было делать? Ведь счастье одних всегда зиждется на несчастье других».

Габриэль был счастлив. Он по-прежнему жил у своего друга Жилон. Но большую часть времени проводил в Моглеве и каждый вечер, возвращаясь в Монпрели на новой машине, которую он только что приобрел на деньги, взятые в «долг» у Жаклин, глубоко вдыхал свежий деревенский воздух и испытывал такой прилив сил, какого не помнил. «До чего же красиво колышутся ветви! Ах! Почва, земля! Вот в чем истина!.. Никто не поверит, что я женился не на деньгах. Ну и что! Пусть думают что хотят: мы-то с Жаклин знаем, как оно на самом деле. Боже мой, я совсем забыл ей сказать...»

Находилась всегда тысяча вещей, которые Габриэль забывал сказать Жаклин; но для этого у него будет завтра, и послезавтра, и вся жизнь. Внезапно его существование наполнилось смыслом. «Подумать только, ведь я так часто задавался вопросом, что я делаю тут, на земле. Теперь я знаю, знаю, во имя чего я живу».

И до поздней ночи он мучил Жилон, который буквально засыпал на ходу. Габриэль говорил не умолкая и незаметно для себя проглотил одну за другой несколько рюмок марка⁶.

Однако по мере того, как приближалась церемония, Жаклин становилась все сдержаннее и все больше нервничала.

– Хотите, мы все отменим? Не пойдем под венец, если вы считаете, что не следует этого делать, – едва сдерживая гнев, но не теряя достоинства, за день до свадьбы сказал ей Габриэль. – Можно еще подождать.

– Ах нет, не сердитесь на меня, Габриэль, – отозвалась Жаклин. – Но поймите, я как лошадь, которая получила травму, когда ее впервые загнали в фургон, и теперь она инстинктивно боится снова туда заходить – вот и все.

На самом деле это означало: «А может быть, на мне лежит печать. Может быть, я шагаю навстречу новому горю...»

– Я очень хорошо понимаю, – серьезно проговорил Габриэль. – И хотел бы, чтобы вы знали, что я уважаю, насколько это возможно, ваши... как бы это сказать... ваши воспоминания. И я никогда не стану настаивать на том, чтобы вы забыли даже вашу печаль.

– Простите, Габриэль, но даже если бы вы попросили меня об этом, я бы не могла, – сказала она, грустно пожав плечами.

На какое-то мгновение они умолкли.

– Я знаю, что вы часто думаете о Франсуа, – вновь заговорил Габриэль, – так оно и должно быть. И никогда этого не скрывайте. Это человек, который, судя по тому, что мне рассказывали вы и другие, вызывает у меня величайшее восхищение.

– Спасибо, – промолвила она, дотронувшись до его руки.

⁶ Виноградная водка.

Она почувствовала, что готова расплакаться. Предрасположенность к слезам, появившаяся у нее в последнее время и объяснявшаяся, может быть, тоскою плоти, выводила Жаклин из себя.

Впервые в разговоре с Жаклин Габриэль назвал ее первого мужа по имени, вместо туманных перифраз, которыми обходился до сих пор. Притом говорил он вполне искренне.

Они медленно шли бок о бок по парку. Несколько минутами позже, когда мысли Габриэля приняли другое направление, он неожиданно поймал себя на том, что в мозгу его крутится фраза: «Водворяется мертвец».

– Как вы зло вдруг на меня посмотрели, Габриэль! – воскликнула Жаклин.

– Нет-нет, отнюдь... просто я думаю... обо всем, что нас разделяет... о моей бедности... и задаюсь вопросом, имею ли я право, ведь вы...

Это была его обычная и почти бессознательная хитрость: лишь только он чувствовал свою зависимость от Жаклин, тотчас заводился разговор о бедности.

Жаклин подняла руку, будто желая закрыть ему рот.

– Прошу вас, Габриэль, мы сказали уже по этому поводу все, что нужно было сказать. Моего личного состояния вполне хватит на двоих, и я никому не должна давать отчет. Для меня в самом деле большое счастье иметь возможность обеспечить вам безбедное существование – вы же не можете иначе в полной мере проявить свои способности... И разве я уже не доказала вам этого? – тихо добавила она с улыбкой, намекая на чек Сильвене...

Этому высокому, крепко сложенному человеку с мужественным лицом суждено было внушать женщинам желание всячески его оберегать – вплоть до оплаты его долгов своим соперницам... Узким местом Де Вооса было отсутствие денег, и, залечивая эту рану, женщины стремились взять над ним реванш, закрепить обладание им.

На сей раз Габриэль дотронулся до руки Жаклин и прошептал:

– Спасибо.

Они посмотрели друг на друга.

«Как я могу существовать без женщины, которая так много мне дает и с такой деликатностью...» – думал Габриэль. «Как могла я обходиться без него, насколько же он искренен, он уже заполнил пустоту в моей душе и стал моим самым близким другом», – думала Жаклин.

– А ведь когда я в первый раз вас увидела, вы мне не слишком понравились. И даже показались неприятным, – произнесла она вслух.

Она не погрешила против истины, но то ощущение, которое возникло у нее как попытка защититься от тотчас вспыхнувшего волнения, было ей неприятно.

Они вместе рассмеялись.

– Дорогой мой, – прошептала Жаклин.

И ее маленькая, породистая, с тонкими изящными пальцами рука потянулась к красивой, с большими светлыми ногтями руке Габриэля.

Они были действительно счастливы.

И все же обоим хотелось, чтобы время, отпущенное на помолвку, поскорее прошло, словно каждый подсознательно страшился какой-то катастрофы.

Настало утро свадьбы.

Глядя на себя в длинное узкое зеркало, занимавшее угол гардеробной, Жаклин испытала приятное удивление. На ней было очень простое дневное бирюзовое платье. Но оно было яркое.

«Оно мне очень идет, – подумала она. – И выгляжу я совсем еще молодо».

Последние восемь лет в ее семье одна кончина следовала за другой – смерть отца; смерть мужа; смерть дяди-генерала; смерть барона Зигфрида, деда Франсуа; смерть другого дяди, Жерара де Ла Моннери, дипломата; смерть свекрови, баронессы Адели, – и потому Жаклин не переставала носить траур.

– Видишь ли, дитя мое, в наших семьях, – сказала ей однажды двоюродная бабушка, герцогиня де Валлеруа, – начиная с двадцати пяти лет нужно заказывать себе только черные платья.

И вот судьба подарила Жаклин передышку, вновь дала ей право на радость, на разнообразие, на светлые тона.

Жена Флорана, помогавшая Жаклин одеваться, без умолку трещала за ее спиной, не в силах преодолеть волнение, какое охватывает старых слуг, когда в жизни их хозяев происходят важные события.

– Ах! Какая же радость, что в замке будет наконец молодой хозяин, а то госпожа баронесса все одна да одна. Вот и потом Лавердюр частенько говорил Флорану, что в команде нашей не хватает молодого хозяина, который и охотиться умел бы, и вообще во всем помогал.

Внезапно Жаклин посмотрела на свою руку и вздрогнула. Она не сняла обручального кольца. «Ужас какой, – в страхе подумала она, – я чуть не явилась с ним к алтарю!..» С того далекого дня, когда Франсуа надел его ей на палец... «Четырнадцать лет и десять месяцев... мы выходим из Сент-Оноре д'Эйло... все боялись, как бы не пошел дождь, но он не пошел... большая полосатая маркиза над папертью... Я как сейчас все это вижу... нет, нельзя сейчас об этом думать...» Она осталась без кольца один-единственный раз – совсем недавно, утром, когда ювелир снимал мерку, впрочем не изменившуюся, для нового кольца.

«А почему я не могу носить оба? – мелькнуло у нее. – Да нет, я этого не сделаю. И потом, наверняка это будет неприятно Габриэлю... Франсуа, обещаю тебе, я отдам переплавить оба наших кольца и сделаю из них одно, с которым никогда не буду расставаться».

Она перечитала письмо, которое написал ей Франсуа за несколько минут до смерти и которое она, как святыню, всегда носила с собой в черном бумажнике. Почерк был нервный, торопливый, знаки препинания отсутствовали.

«Жаклин заклинаю тебя жить заклинаю тебя быть счастливой. Я уверен есть на свете мужчина способный занять рядом с тобою место которое я недостоин более занимать...» (Профессор Лартуа сказал, что «такой оборот чертовски показателен».)

Жаклин поцеловала письмо и благоговейно его сложила.

«Видишь, Франсуа, я слушаюсь тебя, – подумала она. – И выполняю твою волю. Я уверена, что Габриэль понравился бы тебе, что он тот, кого ты указал».

И тут тоже, как и с переплавкой колец, она чувствовала, что ищет отговорку, ложное оправдание своему поступку.

Старый маркиз де Ла Моннери должен был сопровождать племянницу к алтарю. Но Жаклин сама вела слепца через маленькую темную часовню, переделанную около 1830 года под псевдоготический стиль.

Габриэль в последний раз надел свой великолепный красный доломан спаги, украшенный всеми орденами. Он только что подал в отставку.

– Мне захотелось обязательно надеть его, – шепнул он Жаклин, – потому что он привел меня к вам.

Габриэль, случалось, проявлял совершенно неожиданное ребячество, которое легко могло сойти за душевную тонкость.

Майор Жилон ликовал, стоя среди свидетелей. Он считал себя виновником происходящего и не скрывал этого.

Среди гостей было несколько родственников, несколько крупных и мелких помещиков, живших по соседству, а впереди всех слуг тихонько вытирали глаза госпожа Флоран и госпожа Лавердюр.

Для придания большего веса церемонии и во искупление былых грехов перед дарохранительницей темнела фигура отца Будре. Доминиканец, обративший в свою веру Жаклин и спасший ее от безумия, а может быть, и от смерти в первые трагические месяцы ее вдовства,

прибыл из Парижа, чтобы благословить этот союз, который означал полное выздоровление его подопечной и возвращение ее к нормальной жизни.

Святой отец испытывал чувство удовлетворения, смешанное с некоей меланхолической грустью, – он благополучно довел Жаклин до окончания пути, по которому ее когда-то направил.

«Хорошо ли все у них пойдет? – думал он. – Да нет, они любят друг друга, сразу видно».

В его жестах было столько природного величия, что казалось, он совершает посвящение.

Жаклин то и дело вскидывала глаза на Габриэля – он стоял к ней в профиль, слегка сжав губы. И вдруг ей показалось, что на лицо Габриэля словно наложилось зыбкое очертание лица Франсуа, и, как и в первый раз, она едва не лишилась чувств, но не от волнения, какое испытывала сейчас, а лишь от воспоминания о былом волнении.

«У меня же было тогда предчувствие, что произойдет несчастье», – промелькнуло у нее в мозгу.

«Неужели она думает о... прошлой свадьбе?» – стучало в голове у Габриэля.

Отец Будре протянул лежавшие на подносе обручальные кольца, охватывая пару внимательным и глубоким взглядом.

12

На регистрационной карточке «Павильона Севинье» в Виши – это была их первая остановка по пути на юг – Габриэль впервые расписался: «Граф Де Воос». Жаклин прекрасно знала, что большой перевернутый шеврон на гербе, который изображен у Габриэля на перстне с печаткой, означает не принадлежность к высокому роду, а разве что первую букву его имени. Тем не менее, промолчав, она как бы одобрила этот поступок нового мужа. «В сущности, девяносто девять из ста титулов, которые носят сегодня, употребляют лишь из вежливости», – думала она. И в любом случае она предпочитала именоваться «госпожой графиней», а не просто «госпожой».

Главное, она испытывала великую радость от того, что не пришлось заполнять регистрационную карточку самой и что рядом с нею был мужчина, взявший на себя ведение всех дел. Ее несколько унижительному положению одинокой женщины наступил конец.

– Пойдемте вымоем руки и тут же спустимся ужинать, – сказал Габриэль, – а то уже очень поздно.

За едой, сидя в глубине почти пустого зала, Жаклин вдруг заметила:

– Но почему мы говорим так тихо? Нам же нечего прятаться.

– В самом деле, – отозвался, рассмеявшись, Габриэль. И, взяв из ведерка бутылку шампанского, наполнил бокалы.

Когда они вернулись в свой номер, обставленный жемчужно-серой мебелью – подделкой под Людовика XVI, – Габриэль, прямо с порога, заметил стоявшую на ночном столике фотографию Франсуа.

Лицо Габриэля стало жестким и застыло, прекрасные светло-карие, с большими зрачками глаза на мгновение почернели. Не говоря ни слова, он прошел в свою комнату.

«Что мне делать? – раздеваясь, размышлял он. – Нужно тотчас это пресечь. Но если я прямо сейчас устрою сцену, она, насколько я ее знаю, взорвется. Глупо же с первых минут начать ссориться из-за другого. Скажу ей об этом завтра. А! Вообще-то, плевать я на все хотел!»

Но он чувствовал, что зря не высказал своего недовольства сразу и позволил Жаклин одержать над ним верх.

Жаклин, в свою очередь перехватив взгляд Габриэля, подумала: «Какая же я дура. Надо было все-таки сообразить. Что теперь делать? Убрать фотографию в чемодан? Но это будет еще хуже для всех троих. Вот чего я боялась! Придется отказаться от всего, что мне было дорого».

Когда Габриэль вернулся в спальню, умывшись и немного расслабившись, он заметил, что фотография уже лежит на туалетном столике, прикрытая, будто невзначай, разными мелочами.

Габриэль три недели выдерживал пост, что было для него большим достижением. Но он считал необходимым как бы очистить плоть.

И он отдался страсти торопливо и неистово.

Жаклин сразу побежала в ванную. Она еще чувствовала кожей объятия Габриэля.

«Естественно, глупо было бы тотчас обзаводиться ребенком, – думал он, ожидая ее. – С Франсуа она забеременела сразу же. Забавно, но с любой другой женщиной я бы первый сказал: „Ты что же, не хочешь вставать, малышка?“ А тут я об этом и не вспомнил».

Когда она вернулась, он курил.

«Совсем как Франсуа», – подумала она.

Габриэль почти сразу снова овладел ею; на этот раз он не торопился, и Жаклин познала блаженство.

Когда затем он взглянул на нее, глаза ее были закрыты; слезы ручьем текли из-под сомкнутых век, и она большим усилием воли сдерживала рыдания.

Габриэль почувствовал, как его затопляет гордость.

– Простите, простите меня, – прошептала Жаклин. – Я совсем глупая, правда? Но все это было так давно.

И слова «так давно» тотчас убедили Габриэля в том, что Жаклин снова вспоминает Франсуа. Он знал, что первое соприкосновение с незнакомым телом неизбежно вызывает в памяти, пусть едва уловимое, воспоминание о том, с кем были связаны долгие месяцы, а то и годы привычных отношений. И тому, у кого это сопоставление невольно возникает, кажется, что он изменил.

Да разве сам Габриэль не вспомнил в этот момент ненасытность Сильвены, ту дрожь, что еще долго потом пробежала по ее телу, не представил три пучка пламени – в низу ее живота и под мышками – три вершины адского треугольника? Разве мог он не сравнивать запахи?

Он разглядывал сквозь легкую ночную сорочку, не снятую из стыдливости, тело Жаклин, тонкую, прозрачную кожу у ключиц.

Грудь ее после двух родов немного расплылась.

«А я шлялся по борделям и вожжался с берберийками», – подумал Габриэль.

– Вы собираетесь вечно держать возле себя эту фотографию? – неожиданно спросил он, хотя обещал себе этого не делать.

– Нет, простите меня, Габриэль, – ответила Жаклин, взглянув на него страдальческими глазами. – Я сразу почувствовала, когда мы вошли... Но не я тут виновата: чемодан разбирала горничная. И вытащила... рамку, не зная... Если бы я делала это сама, я бы... – Она говорила совершенно искренне.

– Но все-таки вы взяли ее с собой! – сказал Габриэль.

– Послушайте, дорогой, я думала, что мы с вами условились...

– Да-да, разумеется, – бросил он. – У меня нет никаких оснований просить вас не брать с собой этой фотографии. Все в высшей степени объяснимо.

И он снова почувствовал, что совершил важную тактическую ошибку, пойдя на такую уступку. Он не мог избавиться от мысли: «Вечно уступать».

Однако у него была причина избегать ссоры. Подспудная тревога, не оставлявшая его в последние недели, о возможной физической несовместимости с Жаклин рассеялась в первую же ночь.

– И потом, я должна вам сказать, – еле слышно добавила Жаклин, – что, если бы Франсуа не умер, мы никогда не узнали бы друг друга... то есть... не стали бы близки, как сейчас.

«Естественно!» – подумал Габриэль, не замечая, что тем самым она ставит его на второе место, а он с легкостью на это соглашается.

Ибо он-то был жив и потому считал себя победителем.

Легко, дрожащим пальцем Жаклин провела по розовой полоске, разрезавшей по всей длине, как большой ломоть хлеба, левое предплечье Габриэля. У Франсуа такая же нежная, более светлая, чуть припухлая с обеих сторон отметина шла по правому боку – след от осколка снаряда.

– Решительно, мне суждены мужчины, отмеченные шрамами, – с улыбкой прошептала Жаклин.

С тех пор, куда бы они ни ехали, Жаклин всюду брала с собой и держала в спальне фотографию Франсуа; она только вставила в ту же рамку портреты двух своих детей, которые частично перекрывали изображение отца.

Однако глаза покойного всегда виднелись над детскими лицами.

Глава II

Театр Де Де-Виль

1

Симон Лашом застегивал пуговицы на манжетах, стоя у камина, обрамленного двумя маленькими колоннами из зеленого мрамора.

Потолки в квартире были низкие, как в большинстве домов на Левом берегу. Окна комнат, где жила Марта Бонфуа, выходили на набережную Малаке. По другую сторону раздвинутых занавесей на Сену опускался туманный вечер, какой бывает обычно в конце сентября, обертывая ватой Лувр и окружающие его сады.

Комната, где новоиспеченный депутат неспешно заканчивал одеваться, освещенная мягким светом, с камином в виде миниатюрного античного храма, внутри которого на подставках с медными шишками горели короткие поленья, походила на маленький теплый, излучающий счастье камень с выдолбленным в нем альковом.

Симон Лашом знал, что, выйдя сейчас на улицу, он посмотрит на окно Марты глазами, исполненными и нежности, и гордости. Он вспомнил ту ледяную ночь, восемь лет назад, когда, возвращаясь из дома поэта Жана де Ла Моннери, где присутствовал при его кончине, он шел пешком по пустынной в тот ночной час набережной, чувствуя внутреннюю уверенность в том, что стоит на пороге решительного поворота в своей судьбе. Мог ли Симон тогда предположить, что по капризу этой же судьбы он найдет приют в доме, по которому когда-то едва скользнул взглядом, не увидев его (как верно, что среди тысячи впечатлений, воспринимаемых нашим глазом, по-настоящему до глубины нашего сознания доходят только те, которые соотносятся с каким-либо нашим желанием или будят в нас воспоминания)?

Одновременно перед глазами Симона, устремившего взгляд на огонь, который грел низ его брюк, за легким ровным пламенем возникал тихий августовский день, большое убранное поле, выжженное солнцем, со снопами скошенной ржи, что вздымались на ковре осыпавшейся соломы, а под ними спят солдаты перед серьезной операцией. И наконец, подумав о теплом чувстве, которое охватит его позже, когда текущее мгновение снова всплывет в его памяти, он испытал ощущение, близкое к ностальгии, равное на самом деле осознанию своего счастья.

Ах, сколь же бесценна эта женщина, чье присутствие, чья плоть, чье слово дарят ему всегда блаженное расслабление, час забвения и неожиданно пробуждают к действию все уголки его сознания, все мысли, которые словно разом наполняют его мозг!

Симон ощущал необъяснимую вселенскую благодарность – ведь ему пошел уже пятый десяток, и вдруг он получает любовницу, рядом с которой чувствует себя молодым, всякий раз будто вновь открывая самого себя, и кажется себе новичком как в искусстве интриги, так и в искусстве любви...

– Спасибо, Марта, – проговорил он, медленно повернувшись к ней.

– За что, дорогой Симон? – спросила она, улыбаясь.

Он неторопливо махнул рукой.

– За то, что ты есть, – ответил он.

Марте Бонфуа было пятьдесят шесть лет, и ее прекрасные серебряные волосы, живые, мягкие и блестящие, которые она умела красиво причесать, не только не старили ее, но служили оправой, обрамлением ее лица. Улыбка никогда не сходила с ее губ, обнажая ровные блестящие зубы, а если она гасила улыбку, лицо ее по-прежнему словно бы еще улыбалось, мягко светило.

Она никогда не боялась общества молодых девушек: рядом с ней они казались существами другой породы, другой, менее развитой расы, и Марта Бонфуа словно говорила им: «Вот, дети мои, вот какими вам нужно стать».

А уж среди женщин, которым перевалило за тридцать, она и вовсе не имела соперниц.

– Марта? О, она принадлежит к феноменам, которые встречаются раз или два в столетие, она – Нинон де Ланкло...⁷ Спать с ней – один из способов достигнуть бессмертия! – громогласно возвещал своим тягучим, ироничным, хриплым голосом драматург Эдуард Вильнер, представлявший собой – как и Марта – феномен среди мужчин.

На злословие завистливых подруг Марта Бонфуа отвечала с простотой, объясняющей уверенность в своем превосходстве:

– Да нет, я вела жизнь не более распутную, чем большинство из тех, кого мы знаем. А если у меня и было любовников больше, чем у них, так только потому, что я дольше оставалась съедобной, – вот и все.

Симон глядел, как она сидела в просторном черном атласном халате, окаймленном высоким рюшем из белого тюля, над которым, словно над плоеным воротником, горделиво возвышалась голова; кипень тюля, опускаясь на грудь и пенясь на гладком круглом колене, кольцами ниспадала на ковер.

Она напоминала какую-то известную картину или какой-то никогда не созданный шедевр, моделью которого она могла стать сама.

Симон надел пиджак.

– О! Умоляю, дорогой, не носи больше траурную повязку, она ужасна. За версту отдает провинцией, – сказала Марта. – И это ничего не добавит к печали, какую ты, вероятно, испытываешь после смерти матери.

– Да, я знаю, – отозвался Симон, ища оправдания. – Я нацепил ее потому, что собираюсь в свой округ.

– Да нет же, ты носишь ее все время. Уверю тебя, черного галстука вполне достаточно. – Она пошла за ножницами, лежавшими на туалетном столике. – Ты ведь доставишь мне это удовольствие, правда? – сказала она. И принялась спарывать с рукава Симона кусок темной траурной материи.

«Ей всего на десять лет меньше, чем было матери... Она поразительна», – подумал Симон.

Взгляд его вернулся к камину. На зеленой мраморной каминной доске, над маленьким фронтоном храма, стояли, подобно богам – покровителям этого дома, фотографии мужчин – почти сплошь политических деятелей, притом знаменитых или пользовавшихся известностью в свое время. Лестные, ласковые посвящения были составлены таким образом, чтобы за ясной сдержанностью слов проглядывало нечто большее. Эдуард Вильнер, представлявший на камине литературу, в выражениях, как правило, не стеснялся, но на сей раз остался в рамках приличия, преступить которые ему бы и не позволили, вместо обычного «Марте» на своем изображении он написал: «Ах, Марта!» – и десять точек вслед. На портрете великого профессора медицины, Эмиля Лартуа, в мундире академика, посвящение располагалось весьма артистично, но прочесть его было нельзя. Среди фотографий людей разного положения, выставленных по иерархии, можно было узнать несколько премьер-министров: самые давние, блеклого коричневого цвета, изображали лица умерших и относились уже к истории. Из тех же, кто еще оставался в живых, без труда можно было бы составить кабинет министров. К тому же из этого не следовало, что Марта не получала советов у своих прежних или настоящих любовников,

⁷ *Нинон де Ланкло* (1616–1706) – французская дама, известная своей красотой, образованностью и свободным образом жизни (в числе ее любовников были Колиньи, Великий Конде, маркиз д'Эстре). В салоне де Ланкло собиралось избранное общество: дамы ее профессии, поклонники Эпикура, читательницы Монтеня. Говорили, что она не обошла своей благосклонностью юного Вольтера, связав таким образом скептицизм семнадцатого века с философской мыслью века восемнадцатого.

не участвовала в интригах, не собирала у себя в дружеской обстановке противников, которые вряд ли встретились бы где-либо в ином месте, не высказывала своего мнения при распределении портфелей или не старалась заполучить должность для своих протеже.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.